

[Polaris]

Александр
Ярославский



АРГОНАВТЫ
ВСЕЛЕННОЙ

Роман-утопия

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

XXX



Salamandra P.V.V.

**Александр
Ярославский**

АРГОНАВТЫ ВСЕЛЕННОЙ

(Роман-утопия)

Salamandra P.V.V.

Ярославский А. Б.

Аргонавты вселенной: (Роман-утопия). Сост. и биогр. очерк А. Шермана. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2013. – 245 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. XXX).

В книгу вошли основные научно-фантастические произведения поэта-биокосмиста А. Б. Ярославского (1896-1930): роман-утопия «Аргонавты вселенной» – книга, давно ставшая чрезвычайной редкостью – и «Поэма анабиоза».

В приложениях публикуются несколько фантастических стихотворений А. Ярославского, воспоминания его жены Е. И. Ярославской-Маркон – женщины необычайной судьбы, редкого мужества и духовной силы – и биографический очерк об А. Ярославском.

С публикацией этой книги к читателю возвращаются произведения поэта, чья жизнь трагически оборвалась на Соловках зимой 1930 г.

- © I. Flige, публикация, примечания, 2008
- © А. Sherman, биографический очерк, 2014
- © Salamandra P.V.V., состав, оформление, 2014



Рис. худ. М. Томского.

МОСКВА. „Биокосмисты“ ЛЕНИНГРАД.
1926 г.

АРГОНАВТЫ ВСЕЛЕННОЙ

(Роман-утопия)

ОТ АВТОРА.

В дни, когда в Америке астроном Годдар готовится к практическому опыту посылки космической ракеты, когда у нас в Москве уже организовано общество межпланетных сообщений, — этот роман, написанный более двух лет тому назад, несколько устарел.

Утопия близится к реальности на глазах живущих.

Но мне милы наивные и немного старомодные герои этого романа. И мне думается, что моя попытка описания возможного межпланетного полета найдет отклик у всех пресытившихся сутолокой земли и иногда с надеждой и вопросом поднимающих глаза к звездам...

Александр Ярославский.

23-го февраля 1925 года.
МОСКВА.

ГЛАВА I.

Чемберт.

... И день и ночь работало радио. Сотрясались высокие башни от упругих искровых ударов. И нежно звенела певучая антенна.

А рядом еще выше, еще безумнее поднимались башни. Спешно заканчивали новую станцию. Суетились рабочие.

Проходили туземцы, работавшие на насыпи. Было оживленно и шумно. Работы подходили к концу, но Чемберт испытывал недовольство...

Уже две недели он не получал никаких известий из Парижа... И все чаще его взгляд с неопределенным вопросом обращался к громадному эллингу, скрывавшему окутанное парусиной и брезентом железное тело «Победителя». Распоряжался Чемберт спокойно и властно.

Выбритый, чистенький, с неизменным пробором и папироской, безукоризненно точный, холодный и выдержанный, — сын латыша и англичанки, он по-прежнему выполнял порученную ему работу. Что ж! Он, конечно, не гений, как Горянский, он ничего не сможет выдумать или изменить, но свою часть работы он доведет до конца!.. — Что теперь с Горянским?.. Заболел он? Может быть арестован?..

— Удался опыт или нет? — Или, может быть, у него не хватило денег? — Тысячи предположений возникали сразу и перепутывались. Но нельзя было показывать даже намек на неопределенность и сомнения. — Вера в Горянского была слишком велика; половина рабочих работала в кредит. Если бы у них мелькнула хоть тень догадки, — предприятие бы распалось. — Банкроты!.. — Да, если не вернется Горянский, — они банкроты!.. Впрочем, припасов хватит еще на три месяца. Горянский может вернуться... А если они заговорят о плате, если захотят домой, если откажутся работать, — тогда?

Нет!.. Этого не будет!.. Гениальная попытка не может закончиться так пошло и глупо какой-то Панамой...

— А если — все-таки? — Узловатая рука Чемберта погладила нервно холодное тельце браунинга в кармане, — он заставит! — Перестреляет половину, если понадобится, или умрет сам... — Впрочем, нет, глупости!.. — При чем здесь Панама? — Горянский ведь не Лессепс!.. Тут, конечно, другие... совсем другие причины. — Но что бы то ни было, а свою часть работы Чемберт доведет до конца!

— «Господин Чемберт! Господин Чемберт!» — к нему черненьким клубочком подкатился маленький негритенок Мукс.

— «Новости! — необыкновенные новости: — мы перехватили американское и французское радио! — Вас просят к аппарату, господин Чемберт!»

— Радио... Париж... Горянский!.. — у Чемберта заискрились глаза и напряглись ноздри. Он вздрогнул и, нервно суетуясь, зашагал в аппаратную.

Маленькая лестница. Металлические колонны, изящные и мощные, как легкий абрис Эйфелевой башни. Желтые медные наконечники выключателей и спокойный, четкий, немного танцующий ритмический стук аппаратов. Телеграфист в громадной предохранительной каске, неуклюжий, смешной и немного похожий на водолаза, что-то суетливо показывает ему, оживленно жестикулируя. Его лицо в каске странно гримасничает. И Чемберту кажется, что это — средневековый Мефистофель издевается над ним здесь, в аппаратной.

. . . Разочарование! — тяжелое и острое, неожиданное и грубое, как удар кулаком в сердце, — это не Горянский!

Чемберт изнеможенно опускается на кожаное сиденье стула. — Который раз!... Который раз его зовут на аппарат для того, чтобы он выслушивал какие-нибудь глупости, а от Горянского — ни слова!.. — Ах, разорвать бы эти глупые бесполезные проволоки!.. Какое ему дело до всего остального мира, до политических новостей, до этой нелепой бессмысленной войны, до визитов коронованных идиотов друг другу!.. До этих рабочих стачек! Все равно из этого

никогда ничего не выйдет!... — Разве могут рабы обойтись без кнута и погонщика?! — Да и что ему до этого, если радио молчит о Горянском?

Но телеграфист по-прежнему размахивает руками и по-прежнему сует Чемберту длинную узкую бумажку с рядами черточек, цифр и точек. И, наконец, сквозь ритмический стук приборов до сознания Чемберта долетают какие-то слова и упорно, сквозь безразличие и разочарованность проталкиваются в мозг: — «Гражданская война в России... Правительство Николая второго свергнуто... Революционеры захватили власть... Братания на фронте... Русская революция опасна: есть симптомы, указывающие, что она может превратиться в международную... Беспорядки на почве голода в Германии... Русский царь захвачен и арестован революционерами...» Брови Чемберта удивленно приподымаются: неужели из этого, действительно, что-то вышло!.. Рабы без погонщика?! Россия без царя?! Как это удивительно!.. Страна дикарей и рабов, страна малоподвижных тупых крестьян, где, казалось, было невозможно никакое свободное течение мысли, — и вдруг!..

— Неужели это, действительно, конец самодержавия?! С телеграфистом происходит нечто невозможное: он сбрасывает свою неуклюжую шапку и бежит, взволнованно крича, мимо Чемберта, вниз по металлической лесенке. Чемберт изумленно смотрит вниз. — Ведь вовсе не смешон теперь без каски этот стройный, бледный человек со смуглым семитическим типом лица! До Чемберта, который хотя плохо, но все же понимает по-русски, доносится голос телеграфиста, тонкий, острый и жалобный, отдаленно напоминающий плач. Проходящие рабочие останавливаются. У аппаратной собирается небольшая группа.

— «Братья!.. Товарищи!.. В России революция!.. Сейчас мы перехватили американское радио... Царь Николай Романов арестован!.. Пришла, пришла, наконец, и к русским свобода!..»

— «Братья! Мне не давали учиться в России... Моя мать убита во время еврейского погрома...» — слова телеграфиста переходят в рыдание.

— «Долго терпели мы, евреи! Долго терпел весь народ, но есть справедливость, есть возмездие!..»

Голос его прерывается. К телеграфисту подбегает русский рабочий. Говорят все вместе, шумно, непонятно и несвязно; рабочие бросаются на шею телеграфисту, — целуются... Чемберт с удивлением и с некоторым испугом смотрит вниз: — «Да, эти русские... Видно наболело у них на сердце много и долго... Экспансивный народ! Вот и Горянский такой!.. Нервный, впечатлительный, чуткий, но в то же время решительный, героически-смелый... О, этот не станет плакать — нет! Он, когда нужно, сумеет быть острее стали, тверже гранита...»

Чемберт вспомнил шестой год в России. Баррикады в Москве. Себя и Горянского. Подъезжавших казаков, навешенный пулемет и застывшую наверху у красного знамени фигуру Горянского, красивого и спокойного под выстрелами, улыбавшегося радостно и по-детски наивно в глаза неизбежной смерти.

Он вспомнил, как схватил его, — тогда почти мальчика еще — в охапку, вместе со знаменем, и унес, спас чудом от неминуемой бессмысленной гибели...

— Где теперь Горянский? — Почему нет известий? — Что с ним? — Доведут ли они до конца это грандиозное дело, которое затеяли вместе? Но вдруг остро, сквозь печаль, сквозь воспоминание, одна практическая сегодняшняя мысль деловито постучалась в мозг: — эти русские! — этот телеграфист, который должен быть у аппарата!.. Как бы это не помешало работе?! Надо прекратить это!

Чемберт встал, сразу сухой и бесстрастный, чтобы спуститься к шумевшей, жестикулирующей кучке. — Вдруг звонок негромкий, но продолжительный и настойчивый ударил в сознание и уши:

Раз... Два... Три... Четыре... Пять!..

Три — Россия. Семь — Америка. Пять!.. Радио-телефон!..

— Нет сомнений: Горянский звонит из Парижа!..

С легким стуком отпала крышка прибора; забыв все на свете, Чемберт бросился к слуховой трубке. — Что это? — Женщина! — Значит говорит не Горянский!..

— Кто же это может быть? — Мать Горянского умерла!.. Сестра тоже... Кто же это?

Голос женщины тихий, нежный, вдумчивый и далекий тонкой струей вливался в напряженное сознание Чемберта.

— «Говорит Елена Родстон из Парижа, по поручению Горянского... Попросите к телефону господина Чемберта».

— «Оль-райт! — Я, Чемберт, у аппарата, слушаю вас. В чем дело?» — и почему-то странно враждебно звучит голос Чемберта, — сам он не знает почему.

— «Мы с вами еще незнакомы, тов. Чемберт, — давайте будем знать друг друга! Я — Елена Родстон, невеста Горянского...»

— Что? Невеста?! Горянский женится?

Чемберт ошеломленно хлопает себя по лбу.

Но дальше, дальше!.. Проклятая девчонка, которая не может сразу перейти к делу!..

— «Горянский был болен, но вы не беспокойтесь, все благополучно, он уже поправляется, пока еще слаб. Он находится у меня: Улица Аллей 16, 81Б. — Говорю с вами по его просьбе. Через три дня вышлите за нами аэроплан; сами не отлучайтесь. Ваше присутствие на острове теперь более необходимо, чем когда-либо... Горянский нашел, что искал. — Больше говорить не могу — опасно. Аппарат вышлите маскированный. Ко мне являйтесь не сразу, а через несколько часов после прибытия. Успех близок; нужны лишь терпение и осторожность. Привет от меня и Горянского!»

С гулким стуком захлопнулась крышка. Слуховая трубка замолчала.

Радостный и ошеломленный откинулся Чемберт на спинку стула. — Горянский жив! Он нашел!.. Они почти у цели!

— Это главное!.. — И Чемберт радуется этому искренно и глубоко. — Но как в реке, чистой и прозрачной, все же на дне, по течению, грузно поворачиваются тяжелые камни, так и в радости Чемберта оседало что-то тоскливое и чуждое... Да, все это так естественно!..

Так и должно было случиться... А между тем никогда он не думал, что будет именно так! — Всегда представлял себя

и Горянского рядом. Всегда считал он, что Горянский — его ребенок, ребенок гениальный, бесконечно больший, чем он сам, но все же — его, его, Чемберта, неотъемлемо... А вот теперь между ними, двумя становится третий, то есть нет, третья! И как-то сами собой наивно, обиженно и совсем по-детски опускаются углы рта у крепкого, как камень, сурового и стойкого Чемберта.

— Ну что ж! — Горянский молод, ему мало его, Чемберта, дружбы, ему захотелось страсти, женского теплого тела, женской чуткости и ласки... Может быть, это и хорошо! — вот болен он; она, вероятно, ухаживает за ним... Он, Чемберт, несмотря на всю его преданность и любовь, не сумеет ведь создать всей той атмосферы тепла, ласки и уюта, которой так легко окружает женщина любящая и желанная... — Что ж, пусть так! — Женщина победила! Пусть уходит к ней Горянский!.. Остается их дело, нужное, великое, которому Чемберт будет служить до конца!

И, подавив вздох, опять спокойный и бесстрастный, с лицом, точно застегнутым на все пуговицы, он говорит телеграфисту, который уже снова в неуклюжей шапке стоит перед ним, смущенный своей недавней вспышкой, и мнет бумажки, чтобы скрыть свое замешательство, говорит сурово:

— «Делаю вам выговор, мистер Тамповский; какие бы интересные известия вы ни получили, все же до окончания дежурства нельзя отлучаться от аппарата!

Сейчас я получил телефонограмму от мистера Горянского: послезавтра мы отправим ему почту в Париж. Приготовьте копии наиболее интересных телеграмм, которые мы получали, и больше не смейте никуда уходить».

Телеграфист бормочет извинения срывающимся тонким голосом, плохо слышным сквозь шум приемников... Но Чемберт уже не обращает на него внимания. Берет трубку телефона. Соединяется с ангаром. И говорит спокойно, отрывисто и сухо, как капитан дредноута во время сражения:

— «Алло! Ангар!

— Говорит Чемберт!..

— Приготовить Л/З для отправки за мистером Горянским в Париж. Аппарат маскируйте. Взять бензину на три дня. — Отправление послезавтра в час дня. — Летит Джонни!..»

Чемберт вешает трубку телефона и сухой, бесстрастный, немного похожий на засушенную орхидею, идет осматривать работы.

ГЛАВА II.

Е л е н а .

Елена Родстон медленно шла по улице Аллей. Был веселый радостный солнечный день, и ей тоже было легко и радостно: Горянский лежал у нее и выздоравливал!..

— «Теперь он — мой!» — думала Елена. — «Эта напыщенная русская княжна, дочь генерала, такая красивая, с пышными волосами, не отнимет его у меня! — Ее дело проиграно!»

Да и теперь она, Елена, все равно не отдаст его!

— «Он — мой и больше ничей!...» — и сама не заметив, в такт мыслям, притопнула ботинком с невысоким английским каблуком.

Но что-то накидывало паутину грусти на игру радости; резкая прямая морщина прорезывала невысокий изящный лоб; забота, самая примитивная забота: нужно было достать для Горянского молока! Это было очень несложно, житейски просто и в то же время не совсем выполнимо. Кредит ее у лавочника давно иссяк. В булочной еще пока давали, но мясник и молочник вчера взбунтовались... И сейчас идти не стоит: все равно без денег ничего не дадут.

Елена еще в самом начале болезни Горянского истратила свои последние деньги, которых у нее вообще было очень недостаточно, и с тех пор жила вместе с больным в кредит.

Правда, у лих были консервы, которые она захватила из лаборатории Горянского после пожара, но нужны были еще: какао, белый хлеб, сахар, молоко, главное — молоко!.. Доктор сказал, что молоко необходимо, и чтоб пил его Горянский как можно больше. Как же быть? В долг не дадут!.. Это определено... До прибытия аэроплана от Чемберта целых три дня! Раньше вызвать его никак нельзя!.. Она и так страшно опасается, как повлияет перелет на Горянского

го. — Три дня!.. Нужно по крайней мере шесть бутылок — самое меньшее! Он поправляется и с каждым днем пьет больше.

Продать или заложить пальто? — Но как взять его незаметно? И потом она ведь подстелила его Горянскому, чтобы ему было теплее и мягче. Взять у Горянского? — Нет!.. Ни за что на свете! — Он еще может подумать, что она пошла за ним из-за денег... Он ведь знает, что она бедная, очень бедная... Да и как она будет просить у него денег?! Она — просить! И потом: разговаривать о деньгах, когда он болен!.. И, наконец, ведь эти деньги — золото!.. Он сам не раз говорил ей раньше, что их мало, что их едва хватит на дело... Как же может она надоедать милому с такими глупостями?!

— Нет, она должна достать деньги сама, и — достанет... И вот Елена решилась на такую вещь, о которой долго потом вспоминала с величайшим омерзением...

Владелец маленького кафе на повороте улицы Аллей, в котором Елена не бывала уже больше двух месяцев, преследовал ее своими ухаживаниями чуть не с первого дня ее появления в Париже. Елена решила зайти к нему. Стиснув зубы и вся сжавшись, нервно поеживаясь, как будто собираясь войти в холодную ванну, она открыла дверь в кафе, где в ранний утренний час еще никого не было...

— «Добрый день, мосье Фанкони!» — заговорила она, преувеличенно развязным тоном с хозяином, стоявшим за стойкой, и первая, с деланной игривостью, протянула ему руку.

— «Здравствуйте, милая барышня», — забормотал Фанкони, сластолюбиво поблескивая черными глазками, похожими на две круглых мелких маслины.

— «Я же говорил вам, что вы еще придете ко мне! Значит, понадобился старый знакомый!..

— Да, в Париже Фанкони многим нужен!... Фанкони все знают!.. — Какая вы сегодня хорошенькая! — прямо как богиня!..

— Нет, прямо три богини сразу; Диана, Аврора и Венера!.. Ваши губки, ваши глазки пленяют смертных, да и бес-

смертных я полагаю... Будьте же поласковее к любящему вас Фанкони! — Это будет хорошо и для него и для вас. — Не правда ли?..»

И он потянулся к ней через стойку. Елену чуть не стошнило, но надо было сдерживаться.

— «Мосье Фанкони, — прервала она его разглагольствования почти прежним тоном, — я пришла к вам за маленьким одолжением: у меня временные затруднения в редакции, где я работаю... задержали гонорар... — У них, кажется, нет сейчас денег; а мы с подругой хотим отпраздновать ее именины, так, знаете, по-русски, в вашем французском Париже, — чтобы всего было вдоволь...»

Так вот не устройте ли вы нам взаимобразно две четверти молока, булок, печенья, ну там еще чего-нибудь? Я, разумеется, расплачусь с вами на днях...»

— «С удовольствием, мадемуазель Елена, с очень большим удовольствием!.. — Почему не сделать услугу такой приятной барышне, как вы? Но только, знаете, я не люблю давать в долг: какие могут быть долги, да еще с очаровательными барышнями?! Наоборот, мы у вас всегда в долгу... Мы просто сделаем вам этот небольшой подарок...»

— «Мальчик!» — обратился он к непроспавшемуся гарсону — «собери все, что просила мадемуазель! А вы, — продолжал он, обращаясь к Елене и нагло поблескивая глазками — тоже сделаете нам небольшой подарочек и зайдете ко мне сегодня вечером, часиков в девять на чашку кофе. Зайдете, — не правда ли, миленькая?..» — повторил он почти просительно. Елена страшным усилием воли подавила непреодолимое желание плюнуть ему в физиономию, повернуться и уйти, — самое главное это — молоко для Володи!.. — В конце концов не все ли ей равно? А через три дня она с Горянским будет далеко от Парижа... А все-таки хорошо бы раза два сочно и смачно хлестнуть по жирной щеке этого пошляка!.. Но, подавив дрожь отвращения, она пробормотала:

— «Хорошо... хорошо... приду...»

— «Душечка! Ангел...» — расцвел просиявший Фанкони.

— «Вам, может, и деньги нужны?» — он выбросил на стойку десятифранковую монету. — «Возьмите!..» Елена вспыхнула до корней волос, но опять сдержалась.

— «Унижаться так до конца!..» — подумала она. «Пригодится! Куплю Володе сахару и какао...» И опустила монету в карман. Через минуту шла Елена по улице, в сопровождении гарсона, нагруженного молоком и свертками, ощущая в кармане десятифранковик, который жег ей тело сквозь платье, сама удивляясь и стыдно любуясь тому, что сделала. И еще думала, что нет для любви ни высокого, ни низкого, когда делаешь для любимого. И знала, что и жизнь свою, и любовь, и тело отдала бы до конца, и на самом деле продалась бы Фанкони, если бы это нужно было для спасения ее Володи... Солнечный свет окрылял и радовал... Думала, что сейчас увидит Володю... Уже соскучилась о нем за два часа утренних поисков. Воображала, как поцелует этот высокий гениальный белый лоб, как пригладит эти волнистые русые волосы, которые так славно курчавятся над точно отполированной нежной раковинной уша...

— «Володик, хороший, славный!..» — думала она и понимала, что нет ничего в мире, чего бы ни сделала для милого своего... Тут Елена вспомнила, что нельзя, чтобы кто-нибудь увидел у нее Горянского, так как его разыскивают и это опасно; гарсон может проболтаться. Забрала сама свертки и бутылки, отпустила гарсона, дав ему случайно завалившиеся пять су, и пошла в сторону, прижимая к себе пакеты, хотя была уже близко: все боялась, чтобы не подглядел за ней хитрый мальчишка. Внутренне побранила себя за то, что не вспомнила этого сразу и взяла с собой мальчика. Нарочно шла долго в обратном направлении...

Лишь когда увидела, что нет никого вдали, кроме случайных прохожих, повернула к себе. Шла торопливо. Думала, что еще три дня будут они безраздельно вместе с Володей... Еще три дня, а дальше... Дальше они, правда, тоже будут вместе... Вообще Елена не представляла себе своей жизни без Горянского, но дальше у него будет дело!.. Величественное... Смелое... И сложное, которого она не понимала и боялась, — боялась больше русской княжны, ибо

знала, чувствовала каким-то подсознательным инстинктом, что, невзирая на всю его любовь к ней, Елене, — она для Горянского все же меньше, чем его дело.

Она женским чутьем представляла себе дело в виде большой, сильной и любимой соперницы, чувствовала неопределенную безликую ревность, в которой она сама себе стыдилась сознаться...

Вот ее маленькая скромная парадная!.. Вот улыбающаяся консьержка...

С тех пор, как Елена поместила к себе Горянского, ее встречали с какой-то особенной улыбкой. Правда, она выдала его за двоюродного брата; правда, он был болен, но все, же эта улыбка тонкого женского понимания не сходила с губ консьержки после переселения Горянского...

Поднялась по лестнице на пятый этаж. Вынула из сумочки ключ (уходя, она заперла Горянского). Щелкнула задвижкой и вошла в маленькую прихожую. Заглянула в комнату: Горянский спал. Сняла шляпку, положила свертки на окно и минуты две, любуясь, смотрела на спящего...

Он спал, беспокойно бормоча негромко какие-то слова:
— «Свинец... гелий... уран... опять свинец... Нет, радий, только радий!..»

Выражение лица его изменилось, стало веселым, как у ребенка.

«...Радий...» — шептал он, улыбаясь во сне. — «Победа... Радий...»

Елена наклонилась над ним, осторожно, боясь разбудить, дотронулась губами до влажного горячего лба.

— «Володик, милый!.. Даже во сне он думает об этом своем, мужском и далеком!.. Выздоровливай скорей, мой мальчик!..» Еще раз поцеловала его в лоб и осторожно, боясь шуметь, стала развертывать фанконовские свертки. Тихо прошла в кухню. Газовая плита не работала — газопровод уж два дня был испорчен... Поставила чайник на примус и долго задумчиво глядела на холодное синее пламя, любовно лизавшее дно и бока медного чайника.

Под ровное спокойное гудение примуса было так хорошо думать...

Прошла в комнату и опять смотрела на Володю.

Луч солнца ласковый, быстрый, жаркий скользнул ему на лицо. Уколола ревность: как смеет солнце целовать милого?!

Хотела задернуть занавеску, но было поздно, — Горянский проснулся.

— «Елена, ты?! — Я не слышал, как ты вернулась... Меня разбудило солнце... Ты знаешь — я видел сон: будто мы с тобой взлетали все выше и выше к солнцу двое, и только жаль было, что кто-то третий остался на земле...

— Мы мчались, как свет!..

— И вдруг солнце разбудило меня... Я проснулся и вижу тебя наяву! Иди ко мне!..»

Елена подошла и села на край кровати. Горянский потянулся к ней жадно, как к цветку...

— «Успокойся, милый!.. тебе вредно...» — говорила Елена, отвечая на его слабые, но бурные поцелуи. — «Успокойся, детка!.. — Хочешь, я принесу тебе молока?»

Она осторожно высвободилась. Через минуту вернулась со стаканом и бутылкой.

Горянский жадно пил горячее молоко, а Елена рассказывала ему, как звонила на остров.

— «Умница!.. — похвалил Горянский, — «значит, ты хорошо запомнила все, что я тебе объяснял перед тем, как свалился.

— «Володя!» — обиделась Елена, — «я всегда хорошо помню то, что ты мне раз показал!.. — Хочешь, сейчас включу радио-телефон?..» — и она поднялась было с кровати...

— «Не надо... не надо, милая! я и так верю...» — остановил Горянский и пробормотал задумчиво:

— «Да, послезавтра Чемберт вылетит за нами Л/з... — Хорошая машина. — Менее чем в восемь часов перенесет она нас на своих широких крыльях из Парижа на остров.

— Елена, а ты не боишься связать свою участь со мной, — полусумасшедшим изобретателем, — с преступником-анархистом?..

— Идиоты! — они считают меня преступником!.. Они думают, что там, в лаборатории, я готовил покушение на их

правительство... Они думают, что во время пожара сторел я, безумный анархист, вместе со своей лабораторией!..

Чины парижской охранки, вероятно, получат награду... Тут пахивает орденом Почетного Легиона в петличке...

Официально считается, что они уничтожили опасного государственного преступника... — О, ослы! Ведь если бы я захотел!.. Смотри, Елена».

Он с трудом своей ослабевшей после болезни рукой поднял с постели маленькую четырехугольную, похожую на большой портсигар, металлическую вещь, очевидно, очень тяжелую, с которой он не расставался даже во время болезни, и показал ее Елене... Та вспомнила, что даже в бреду он прижимал эту вещь к себе, и свои напрасные попытки убрать ее с кровати...

— «Смотри, Елена: вот здесь в этой маленькой металлической коробке сосредоточена страшная, неизмеримая сила: стоит нажать вот этот незаметный рычажок и отсюда вытечет один атом освобожденного радия, и этого будет более чем достаточно, чтобы взорвать весь Париж!»

Глаза Горянского заблестели лихорадочном блеском... Он приподнялся в рубашке, сбросив с груди одеяло...

Бледный, красивый и страшный, прижав тесно к себе левой рукой Елену, заговорил, безумно присасываясь поцелуями:

— «Положи свой маленький пальчик сюда... вот так!..» Елена почувствовала упругое сопротивление кнопки и ей почему-то вдруг стало страшно...

— «Хочешь, Елена?.. В твоей власти сейчас жизнь всего Парижа!.. И наша!.. Один нажим этого розового пальчика, детски наивного, такого изящного, который я люблю задумчиво целовать, не спеша... и все полетит ко всем чертям!.. — Париж!.. Правительство!.. Охранка!.. Богатые, бедные — все!..

— Погибнет весь город, все вокруг на пятьдесят верст в окружности... Погибнем и мы...

— Четверть секунды — и мы превратимся в тончайшие продукты распада атомов!.. Мы и не заметим, как перейдем в ничто!..

— Жизнь или смерть? — Хочешь, Елена?»

— «Жизнь!.. С тобой!.. Милый, не надо!..» — в нервическом испуге воскликнула Елена, отдергивая палец от страшной кнопки. — «Люблю!.. С тобою жить хочу! Вдвоем!.. Вместе!.. Не надо... не надо смерти!..» Страстно, безотчетно прижалась она к Горянскому... Их губы соединились мучительно и долго... Смертоносная коробка с грохотом упала на пол. Глаза Елены сладко и безумно запрокинулись в глаза Горянского... Ей чудилось, что она отнимает его у смерти... А ему казалось, что к нему пришла сама жизнь, бившая ключом в ее упругом податливом теле, и обнимает его просто и пьяно... И в объятии упругих тел жизнь и любовь торжествовали над смертью...

ГЛАВА III.

Горянский.

Горянский прибыл в Париж более двух месяцев тому назад. Почти все было готово для осуществления его идеи: рабочие, втайне из разных мест собранные на остров, башни радио, сотни машин, — мастерские и приборы, порученные его «altro ego» — его верному другу — Чемберту. В одном из эллингов острова, тщательно укутанные парусиной, скрывались почти законченные мощные формы «Победителя»...

И все же этого было мало: главного, души аппарата — двигателя пока еще недоставало. Горянский был инженером, но он мало походил на этих людей, почти всегда узких и ограниченных, практичных и меркантильных дипломников, выше всего ставящих карьеру и трезвую выгоду сегодняшнего дня, тупых и косных мещан.

— Да, как это ни странно, но инженеры — «творцы Фаустовской культуры», по меткому выражению Шпенглера, — почти всегда мещане. Особенно — заграничные, — эти тупые рутинеры, техники мысли, которые, приделав крантик или подставку к раньше существовавшему прибору, уже считают себя новаторами.

Техника керосиновых примусов, чайников, лампочек, освещающих будуары и уборные, электрических ковров, согревающих ножки дам полусвета и света, техника тысяч деталей буржуазно-мещанской «обстановочки» цивилизованного готтентота, — вот их ближайшие цели...

У них все реально, практично и трезво, все полно вульгарного здравого смысла, все достижимо... Никогда не увлекутся они высокими задачами, никогда не поставят целью невыполнимого...

Бывают конечно, и среди них радостные исключения, которыми только и жива техническая мысль и культура

Запада. Но их немного, а основная масса — мещане, до ужаса трезвые и практичные.

Русские инженеры интереснее и безумнее, но их мало и в их распоряжении неизмеримо меньше технических средств и возможностей... Горянский был одним из безумнейших: только невыполнимое, только непреодолимое привлекало его.

Он был истинным поэтом техники, только поэмы его создавались из проволоки и железа.

Он рифмовал безумие в изумительнейших триолетах из стали... Его электрические сонеты, излучавшие молнии, могли смело поспорить с сонетами Петрарки.

. Еще в шестом году, во время баррикад в Москве, ему случайно пришлось столкнуться с остатками работ гениального русского химика и революционера Кибальчича, удушенного царским правительством, которые сохранились в архиве полиции.

. Еще раньше в мозгу Горянского мелькала мысль о возможности окончательной победы над пространством, о реальном преодолении страшных миллионверстных промежутков пустоты, отделяющих островки жизни во вселенной, отдельные планеты друг от друга.

Работы Кибальчича, детски наивные, принимая во внимание технические возможности его эпохи, и в то же время ослепительно-дерзкие по изумительной силе и простоте основной мысли, захватили Горянского. Он имел раньше в виду другой принцип: он хотел использовать энергию света, наполняющую отдаленнейшие уголки вселенной, положив в основу закон лучевого давления, открытый русским физиком Лебедевым...

Но Горянский, человек, получивший высшее техническое образование в России и за границей, прекрасно сознавал, что при современном состоянии техники этот принцип, теоретически, безусловно, верный, практически неосуществим...

И тем не менее, корабль вселенной — машину, преодолевающую космические пространства, построить можно.

Горянский был убежден, что за эпохой летания над землей последует эпоха заатмосферного, космического полета.

Он стал работать в этом направлении.

Ему пришлось ознакомиться с работами русского ученого Циолковского, с проектом француза Эснопельтри, и он увидел, насколько верна и даже близка к осуществлению основная мысль погибшего Кибальчича.

Горянский оставил свой первоначальный план об использовании лучевого давления и стал производить изыскания в направлении работ Кибальчича, Циолковского и Эснопельтри.

Горянскому досталось богатое наследство: план, проект и теория заатмосферного полета были фактически разработаны этими его предшественниками. Циолковский до мелочей разработал схему междупланетного корабля, теоретически, безусловно, верную; и Горянскому, после продолжительных проверок, удалось открыть лишь незначительную ошибку в вычислениях Эснопельтри.

По работам предшественников Горянский сознавал себя на верном пути... Как новый космический мореплаватель, он стоял перед безграничным межзвездным пространством и чувствовал себя междупланетным Фультоном...

Но не было двигателя...

Работы предшественников давали лишь принцип; двигатель должен был найти он сам, и в этом, собственно, и заключалось решение вопроса. Это не было невыполнимой задачей, как первый проект, — это было трудно, сверхчеловечески трудно, но в конце концов осуществимо.

Когда Горянский понял это, когда увидел, что действительно, близок к решению одной из красивейших задач, которую когда-либо ставило себе человечество, — он стал беречь себя, перестал подставлять свой спокойный лоб под нелепые казацьи пули...

Было бы бессмысленно и глупо ему, будущему планетному Колумбу, погибнуть от руки жандармов и штыков где-нибудь в московских тупичках и переулочках.

Горянский покинул Москву и такие красивые, увлекавшие его раньше баррикады.

Его друг, англичанин Чемберт, скусающий турист, фланер, объездивший весь мир, и от скуки решивший поиграть со смертью под красным флагом, последовал за ним. Мысль о возможности междупланетных сообщений, мысль о реальном проникновении на отдаленные миры, обожгла мозг Чемберта. Глубокий энтузиаст и мечтатель под пеплом холода и безразличия, искавший всю жизнь и не знавший, куда бросить себя, он нашел, наконец, выход для своей заглушенной энергии и предоставил Горянскому себя и свое очень большое состояние для достижения цели.

Его отец, богатый торговец, латыш по происхождению, женился на единственной дочери владельца одной из крупнейших английских фирм, оставшейся миллиардершей после смерти отца. Чемберт унаследовал одно из самых больших в Европе состояний.

Горянский — истинный пролетарий, родившийся от отца-рабочего и матери-интеллигентки, не имевший ничего, кроме своих рук, знаний и дипломов, — которому еще в гимназии приходилось содержать себя своим трудом, увидел в своем распоряжении свыше двух миллиардов на текущем счету английских и французских банков.

Он инстинктивно презирал буржуазию и случайно подружился с Чембертом лишь потому, что тот показался ему немного Агасфером, бродягой, мечтателем, выходящим из рамок класса.

Горянскому приятнее было бы, конечно, достичь победы собственными силами, и сначала он чувствовал себя как-то странно, пользуясь деньгами Чемберта, но потом, когда увидел искренний энтузиазм последнего, когда понял, что идея обожгла Чемберта не меньше, чем его самого, — тогда Горянский успокоился и стал рассматривать происшедшее, как акт своеобразной справедливости, когда буржуазия, в лице Чемберта, возвращала прогрессу и человечеству кристаллизованный в золоте человеческий труд, награбленный в течение столетий.

В Чемберте Горянский нашел незаменимого помощника, товарища и соратника.

Горянскому не хотелось окружать свои опыты рекламной шумихой и газетной трескотней.

Кроме того, он боялся, что в атмосфере надвигающейся войны... а его работы были так близки к уничтожению, к смерти, к исследованию разрушительной силы внутриатомной энергии; его достижения захотят использовать для убийства и войны, которые были ему глубоко омерзительны.

Потом он еще боялся, что ему могут помешать довести дело до конца....

Рассчитывать на правительственную помощь было бы, конечно, нелепо... Ему могли бы дать миллиарды на дредноуты, пушки, подводные лодки и т. п., но не дали, бы, разумеется, ни копейки на постройку междупланетного корабля, отнесясь к этому, в лучшем случае, с иронией, сочтя его просто за тихого помешанного.

Правительство буржуазной Европы, правительство царской России могли только помешать осуществлению его планов. Состояние Чемберта являлось в данном случае прямо манной небесной и Чемберт буквально спасал идею Горянского, как однажды на баррикадах в Москве спас его самого.

..... За не особенно большую сумму в пятьдесят тысяч долларов они купили целый маленький остров, — один из бесчисленных островков мало исследованной группы Самоа.

Плату внесли частью деньгами, так как туземцы вели торговлю с соседними островами и имели представление о деньгах, частью порохом, табаком, дробью, ружьями, одеялами и спиртом.

Невзирая на все протесты Горянского, которому не хотелось спаивать туземцев, пришлось пойти и на это, так как иначе вождь племени островных туземцев, по имени Чигринос, не соглашался на сделку, заявляя, что какой же он будет царь, если не омочит губы и горло солнечной вла-

гой радости, — так поэтично и пышно именовали островитяне спирт...

Чигринос считал необходимой выпивку в связи с продажей острова и приобретением взамен одеял, пороха и ружей, делавших его, по его мнению, могущественнейшим повелителем в мире.

Горянскому был очень смешон этот вождь, — Чигринос, казавшийся ему типичным по глупости, жадности и продажности образцом правителя вообще, не исключая и цивилизованной Европы.

Глядя на эту комичную фигуру, с головой, утыканной перьями, с необычайным убранством, причем из одного уха свешивался легкий алюминиевый портсигар, а возле другого болталась перламутровая трубка, — в нос, уступая традициям старины и отеческим преданьям, он воткнул просто страусовое перо, — Горянский думал, что по существу пестрое убранство Чигриноса не хуже и не лучше, чем цилиндр и фрак какого-нибудь европейского президента или мундир, ленты, эполеты, золотое шитье и лосевые штаны любого российского генерала. У Горянского мелькала ироническая мысль, что если бы переодеть на наш лад этого очаровательного малого, то из него, вероятно, вышел бы недурной российский губернатор.

При заключении договора было поставлено особое условие, что Чигринос освобождает им необходимую для построек землю, хотя бы для этого пришлось выселить с острова часть племени.

Вождь островитян — «отец народа» согласился на это с легким сердцем, совершенно беззаботно, подобно правителям цивилизованных стран или российским министрам, легко распродававшим оптом и в розницу отечественную территорию иностранным банкирам за небольшую взятку, — и быстро покончив с этим маловажным, по его мнению, вопросом, перешел к определению количества пороха, одеял и ружей, и особенно священной солнечной воды.

Однако, на деле это оказалось труднее, чем думал мудрый Чигринос, и при водворении на острове людей и машин пришлось неоднократно прибегать даже к угрозе воо-

руженной силой для освобождения нужной территории, невзирая на то, что все условия Горянским и Чембертом были соблюдены, и плата Чигриносу была внесена вперед. В конце концов удалось все устроить, так как для туземцев было вполне достаточно меньшей, более возвышенной части острова. И даже удалось наладить вполне дружественные отношения с Чигриносом и его подданными.

Горянский очутился в роли неограниченного владыки этого пустынного клочка земли, а Чемберт ревностно исполнял обязанности первого министра.

Чигринос в данном случае исполнял роль дипломатического представителя дружественных пограничных держав, с которыми сохранялись добрососедские отношения.

Горянский часто в шутку сам называл себя островным кациком, — сыном луны и неба и младшим братом Чигриноса.

За восемь лет, которые истекли со времени переселения на остров, было сделано многое: пустынный заброшенный островок по внешнему виду напоминал, самое меньшее, германский фабричный поселок. Башни радио, эллинги, починочные мастерские представляли главную массу построек.

Возле башен возвышался двухэтажный каменный домик, где жили Горянский и Чемберт.

Дальше раскинулись маленькие одноэтажные домики для рабочих, добрая половина которых обзавелась уже женами из числа очаровательных согражданок Чигриноса (Горянский, по совету Чемберта, не брал женатых рабочих и теперь, приехавши, рабочие акклиматизировались и начинали вращаться в островную почву семейственными корнями). Правительство островитян, как именовал Горянский иногда себя и Чемберта, могло быть спокойно за будущее островного племени.

Но дело Горянского все же медленно, слишком медленно, подвигалось вперед: два года потратил он на необходимые закупки, на заказы машинных частей в разных странах, на доставку их на остров, и вообще на организацию островных мастерских и островной жизни, и сверх того во-

семь лет упорной работы на самом острове, — всего около десяти лет протекло с тех пор, как у Горянского явилась мысль положить в основу своих изысканий принцип Кибальчича, а все-таки дело двигалось до обидного незаметно...

Давно уже были собраны отдельные части машин, выполненные на лучших европейских и американских заводах, давно все схемы и диаграммы возможного полета, пересмотренные тысячу раз и проверенные, лежали в специальных папках, но двигателя — этой таинственной души машины, ее всеоживляющего сердца, ее основного и от правного импульса, — все еще не было...

И в двадцать пятый раз снималась с якоря «Мария», прекрасная турбинная паровая яхта, служившая для сообщения острова с внешним миром, которую Чигринос за резкие пронзительные гудки сирены прозвал «железной рыбой белого человека, кричащей со злости», — и в двадцать пятый раз пересекала океан, чтобы перевезти новые материалы для новых опытов...

И в сотый, в тысячный раз, в течение десяти лет с непоколебимым мужеством и стальным упорством принимался Горянский за повторные опыты и медленно, слишком уж медленно приближался к цели...

Гигантская скорость, — свыше десяти верст в секунду, нужна была ему, чтобы привести в действие машину.

Он же за время своих многолетних опытов с трудом добился шести верст и дальше не подвинулся ни на шаг.

Между тем, время шло и, невзирая на всю экономию Чемберта, невзирая на то, что почва острова давала хороший урожай и содержание рабочих им почти ничего не стоило, средства все же постепенно иссякали.

Отчаяние начинало охватывать Горянского: неужели из-за недостатка денег остановится великое дело, неужели проклятое золото — символ человеческого порабощения и унижения, восторжествует и тут!

Несколько раз он впадал в умственную и нервную проstration, и если бы не Чемберт, который заботился о нем, как о ребенке, то он, может быть, покончил с собой.

Наконец, тоже по настоянию Чемберта, Горянский на последние деньги отправился в Париж, чтобы заняться изысканиями с радием. Это была его последняя ставка, последняя конвульсивная попытка спасти свое дело.

Если и это не удастся, если он не найдет этих проклятых, недостающих ему четырех верст в секунду, — машина не полетит, его «Победитель» станет побежденным, он не сдвинется с места, он инертной грудой бессмысленного мертвого металла будет лежать под крышей эллинга!..

. Тогда Горянский — банкрот, тогда он обманул Чемберта и попусту растратил его состояние!

Но первые же опыты с радием убили пессимизм и возбудили энергию Горянского.

Он снял квартиру в отдаленном глухом предместье Парижа, устроил себе на скорую руку походную лабораторию и работал, работал с утра вечера, а иногда и целыми ночами, как бешеный. У него появилась вера в успех; опыты с радием дали неожиданно блестящие результаты, открывалась возможность получения еще большей скорости, чем было нужно... И, кроме того, еще одна возможность, настолько сказочная, что он сам боялся в ней себе признаться.

Горянский продолжал упорно работать и даже нарочно до получения определенных результатов не хотел ничего сообщать Чемберту на остров, с которым мог ежедневно сообщаться, благодаря усовершенствованному им радиотелефону.

. Вечерами, совершенно истомленный от упорной сосредоточенной работы, он выходил подышать свежим воздухом прогуляться по тенистым бульварам...

Там он встретился однажды с Еленой.

Горянский принял было сначала ее за гризетку, за одну из тех бесчисленных ночных женщин, которые наполняют бульвары и главные улицы всех больших городов Европы, в особенности Парижа, и равнодушно прошел мимо.

Но потом его поразила небрежность ее костюма и торопливая походка (она шла из редакции домой и боялась, что консьержка закроет двери и придется долго стучаться) и он заговорил с ней, неожиданно для самого себя, может

быть, потому, что ему инстинктивно почуялось что-то русское в ее манере и движениях.

Она не обиделась и не рассердилась. Отвечала спокойно, просто, с большим достоинством.

Ее низкий серебристый голос ласкал уши и заплетал хорошими прядями утомленный мозг Горянского.

Она рассказала Горянскому, что работает в «Пти Журналь» в редакции, и когда Горянский попросил у нее разрешения зайти к ней завтра вечером в редакцию, она не ответила отказом.

Они стали встречаться почти ежедневно; и эти встречи служили для Горянского приятным отдыхом после напряженной ночной работы.

Правда, у него были еще официальные знакомства, было одно семейство княгини Тамирской, дочь которой княжна Анна (познакомился он с ней еще в России) была влюблена в него по уши.

Но его врожденная нелюбовь к буржуазии и аристократии мешала ему чувствовать себя свободно в их вылощенном аристократически-мещанском салоне, и он не знал, о чем ему говорить с этой влюбленной в него, но чуждой ему, красивой напыщенной барышней. Горянский не умел и не хотел быть кавалером, — «кавалериться», как он иронически иногда выражался; и сознание, что ему внушают какую-то роль и что он должен как-то держаться и что-то делать, — внушало ему чуть ли не отвращение и ненависть к красивой княжне, которая в конце концов была виновата лишь в том, что его любила.

С Еленой же Горянскому было просто и хорошо, и уже каждый вечер он провожал ее из редакции до дому, и они незаметно сближались все больше и больше.

Один раз Елена оказала ему неожиданную услугу: у нее через редакцию были знакомства в электрохимическом институте и ей удалось устроить Горянскому возможность приобрести необходимый для опытов гелий по необычайно низкой цене.

Это расположило Горянского к ней еще больше...

Скоро он узнал ее несложную историю:

Дочь англичанина-врача, попавшего в Россию, Елена с детства росла в очень скромных условиях, граничащих с бедностью.

Отец ее умер рано. Она окончила гимназию в Питере и поступила на Бестужевские курсы, окончить которые ей не пришлось, так как нужно было содержать и себя и мать. Хорошее знание языков помогло ей найти место воспитательницы детей в богатом французском семействе, с которым она и уехала в Париж после смерти матери. Там с большими усилиями, тоже благодаря исключительному знанию языков, она устроилась в «Пти Журналь», как переводчица международной хроники...

После смерти матери она — одна, совсем одна на белом свете...

Горянский сказал о себе, что он инженер и работает над изобретением, которое должно доставить ему большие средства.

Так они встречались друг с другом... Время шло... Настроение Горянского было совсем радужным; он почти уже получил необходимую ему скорость... И, кроме того, то, другое, что казалось ему невозможным, — предстало перед ним во всей своей фантастической реальности...

Оставалось еще раз проверить и резюмировать добытое в форме портативного удобного прибора.

Горянскому казалось, что победа совсем близка.

Еще усилие и напоенный сверхчеловеческой мощью «Победитель» прорежет земную атмосферу, чтобы взлететь к звездам....

Как вдруг совершенно неожиданно он открыл, что за ним следят!..

Вечером, возвращаясь после прогулки с Еленой, Горянский заметил, как быстро прошмыгнули две тени, когда он входил к себе в дом.

Ночью, когда он нарочно неожиданно погасил свет в лаборатории, он ясно увидел на мгновение два глаза и приплюснутый нос в стекле окна.

Ему вспомнилось старое революционное время, когда он спасался от шпиков в России...

Что ему было делать? — Бросить все и возвратиться на остров, не доведя до конца работу?

Но это было бы непростительным малодушием.

Пойти к префекту полиции и объяснить ему все.

Но он не хотел открывать тайну своих работ и потом ему, вероятно, все равно бы не поверили.

— Как же быть?..

Мысль о том, что необходимо что-то сделать, как-то выпутаться преследовала его неотступно.

Один раз в разговоре, неожиданно для самого себя, он сообщил Елене, что за ним следят. Его необычайно обрадовало то простое, открытое сочувствие, с каким встретила столь неприятную новость эта девушка, с которой ему было так хорошо и которую он уже начинал любить...

Она сразу же предложила ему, в случае надобности, свою квартиру, обещала помочь скрыться и добавила, что завтра же через бывавших в редакции, имевших какие-то связи с Парижской охранкой знакомых эмигрантов она выяснит, в чем дело...

. На другой вечер она встретила его с очень серьезным лицом и передала, что дело обстоит совсем плохо: охранка, которая последнее время была почти без работы, решила воспользоваться случаем и инсценировать в его лице прекрасный политический процесс...

Его считают опасным преступником-анархистом, готовящим с помощью адской машины покушение на правительство.

За его лабораторией, действительно, всегда следит сыщик и, что хуже всего, в конце этой недели Горянского собираются арестовать...

. . . Горянский горячо благодарил Елену. Его работы были почти закончены. План действий моментально возник у него в голове.

— «Если вы столько сделали для меня до сих пор, то вы поможете мне и впредь, не правда ли, мадемуазель Родстон?»

— «Да», — ответила Елена просто, — «я сделаю все, что сумею...» — и протянула Горянскому свою маленькую неж-

ную руку, которую тот крепко пожал... И это пожатие послужило как бы скреплением их нарождающейся дружбы и любви...

— «Завтра, в час ночи — быстро проговорил Горянский, — вы наймете фиакр, не считаясь с ценой, и самый быстророходный, и законтрактуете его по часам на всю ночь. Вы будете ждать меня на втором повороте от переуллка, где я живу, в течение десяти минут... Если я не появлюсь там к этому сроку, то, не спеша, нарочито шумно, всячески обращая на себя внимание, вы пойдете по направлению к моей лаборатории...

— Будет хорошо, если вы запоете какую-нибудь шансонетку (если только, конечно, не найдете этого неудобным). Как бы сильно вас ни поразило то, что там произойдет, — не пугайтесь и не беспокойтесь за меня серьезно, но внешне проявляйте свои чувства как можно более эффектно и шумно: кричите, зовите на помощь, даже, если это вас не затруднит, расплачьтесь, вообще не бойтесь и действуйте открыто и громогласно... — Вот вам программа на завтрашнюю ночь, если хотите оказать мне большую услугу... А сейчас разрешите показать вам дорогу в мою лабораторию и вообще считать своей гостьей на сегодняшний вечер...»

Мягкой улыбкой Елена выразила свое согласие, и они, смеясь и оживленно болтая, дошли до квартиры Горянского.

В лаборатории сидели недолго: — Елене надо было утром рано в редакцию, но все же здесь, над колбами и ретортами, над сложными приборами, значение которых объяснил Горянский изумленной Елене, в обстановке, похожей на пещеру средневекового чародея-алхимика, — они поцеловались, поцеловались впервые!..

И наивность ее молодого, только что расцветшего чувства, прикосновение нежных, немного холодных, губ, ее невысокая упругая грудь и все ее крепкое, свежее тело, так хорошо прижавшееся к Горянскому в объятии, — опьянило его легко и радостно, как бокал «Клико», и наполнило новой бодростью и уверенностью в победе.

Целовались и сидели в сумерках, тесно прижавшись, как дети. И нарочно не зажигали света...

Было радостно обоим и хорошо вместе... И в целом мире не нужно было больше никого...

Но истекало время и надо было расставаться: величие идеи у него и забота будней у нее нависали жестоко над любовью...

На прощанье вспомнил об обыденном и просил ее забрать необходимейшие вещи, так как завтра думал переехать к ней. И она собрала, по указанию, вещи и с женской практичностью захватила разбросанные по полу консервы.

Распределили свертки и Горянский проводил Елену почти до половины дороги. Потом нанял ей фиакр, усадил, пожелал спокойной ночи, поцеловал на прощанье и радостно возбужденный вернулся в лабораторию.

Он работал напролет всю ночь до рассвета, не чувствуя усталости, и к девяти часам утра в металлической плоской коробке, похожей на большой портсигар, перед Горянским лежал результат его десятилетних исканий.

Перед ним была возможность вскинуть к звездам грузное тело «Победителя»! — Душа двигателя междупланетного корабля лежала на столе и, кроме того, совершенно неожиданно открывалась другая побочная возможность, найденная случайно, но укреплявшая и дополнявшая победу...

Перед Горянским открывались необычайные и грандиозные перспективы... Его немножко сместила мысль, что какие-то полицейские, какой-то глупый префект Парижа хочет арестовать его, — его, человека, в руках которого, вот в этой маленькой коробочке, сосредоточена страшная, стихийная сила, которая может не только перенести космический корабль через безграничные пространства, но и легко уничтожить полмира, если бы только он захотел употребить ее во зло...

Горянский подумал, что то же французское правительство предложило бы ему, что угодно, чтобы только получить в свое распоряжение для военных целей эту грандиозную разрушительную силу.

. Теперь, когда работа была окончена и достигнутый результат — металлический итог лежал перед ним, — Горянский сразу почувствовал страшную, непреодолимую усталость. С трудом, отчаянным напряжением воли, преодолевая сон, он сделал кой-какие приготовления на завтра и, свалившись на кушетку, не раздеваясь, мгновенно заснул, как убитый. До позднего вечера он проспал.

Ровно в час ночи Елена Родстон, с сильно бьющимся сердцем, стояла у фиакра, на условленном повороте переулка и, пользуясь слабым светом фонарей фиакра, следила за медлительной стрелкой...

Десять минут прошло — Горянского не было...

Елена велела вознице ждать и сама, волнуясь, пошла к лаборатории.

Елена совсем не представляла себе, что будет делать Горянский, но твердо решила, что бы ни случилось, — помогать ему до конца, даже если придется рисковать жизнью.

Она хорошо помнила наставления Горянского и потому старалась идти как можно более шумно, — нарочно шаркала подошвами, а, подойдя ближе, стала неуверенно напевать вслух серебристым голоском модную шансонетку...

Приближаясь, она заметила, как влево за деревьями, возле лаборатории, мелькнула тень: сыщик дежурил на посту! У двери Елена с недоумением остановилась: откровенно говоря, она не знала, что ей нужно делать, но в то же время она до боли ощущала, что за ней сзади усиленно наблюдают: ей даже казалось, что ее спина стала прозрачной и ее сзади мягко щупают, щупают глазами... Это побуждало Елену к активности.

Взгляд в сторону показал, что света в окнах Горянского не было: он или же спал или нарочно не зажигал света. Елена снова запела, уже громче (она решила демонстративно разыграть девушку с бульвара, идущую на свидание) и стала громко стучаться в дверь:

— «Эй, вы там!.. Кто там есть?!.. Мосье!» — восклицала она ненатурально грубовато.

— «Отворите!.. Я не привыкла ждать — мои друзья всегда меня дожидаются!..

— Если приглашаете, то отворяйте!..

— А то я уйду!» — и она опять застучала... Ответа не было.

Вдруг послышался шум — будто упало что-то тяжелое... Через секунду страшный грохот и треск лопнувших стекол наполнили воздух.

Елена в ужасе отпрянула от двери — этого она не ожидала — громадный клуб желтого пламени показался из окна! Дым, густой и смрадный, повалил вместе с пламенем из окон и сквозь щели дверей...

Снова грохот, — еще взрыв — и пламя, сразу усилившись вдвое, лизнуло крышу...

Стало светло, как днем. В страшном испуге, забыв всякие инструкции и все на свете, полная ужаса за участь Горянского, Елена принялась изо всех сил ломиться в лабораторию, оглашая воздух криками...

— «Помогите!.. Пожар!... Спасите!..» — кричала она, как безумная, и билась о дверь, до крови изранив маленький изящный кулачок, но никого не было вокруг и никто не приходил к ней на помощь.

Неожиданно она почувствовала, что кто-то тронул ее сзади за плечо — оглянулась: какой-то человек невысокого роста, в статском, с физиономией, точно помазанной маслом, стоял возле нее.

— «Сыщик!» — подумала Елена (кроме него, никого не могло быть поблизости)...

. . . — Да не все ли ей равно сейчас, сыщик это или святой — нужно спасти Володю. — Умоляюще кинулась к человеку в статском:

— «Мосье, умоляю вас!.. Помогите!... Здесь горит человек!... — Мой знакомый... Я шла к нему в гости... Он сгорит заживо!.. У него, очевидно, что-то случилось,— помогите!.. Спасите!.. Позовите кого-нибудь!.. Я с ума сойду!..»

— «Успокойтесь, мадемуазель», — отвечал ей человек в статском, — нас тоже интересует и уж не в меньшей степе-

ни, чем вас, ваш знакомый...

— Поверьте, что мы не дадим ему сгореть — он нам очень нужен...

— Успокойтесь!.. Не плачьте!.. Я сейчас вызову пожарных и пришлю помощь...

— Да, — прибавил он с ехидной улыбочкой — вам, милочка, выпало на долю очень жаркое, слишком жаркое свидание!..

— Ну, успокойтесь же — я бегу за помощью!..» — и он быстро и ловко, немного приседая, по-заячьи, побежал вдоль переулка и скоро скрылся из глаз следившей за ним безнадежным взглядом Елены.

В отчаянии стояла она перед дверью и думала, что вот еще вчера разговаривала с Володей, живым и здоровым, и смеялась, а вот сейчас, может быть, он лежит рядом, в нескольких шагах от нее, за стенами этого несчастного здания, — мертвый, погибший мучительной страшной смертью!

И еще думала, что никого в жизни уж не будет так любить, как Володю...

Вдруг!.. Тихонько приотворилась дверь, — из-за нее осторожно выглянуло беззвучно смеющееся лицо Горянского.

— «Володя!.. — захлебнулась Елена неожиданностью, радостью и светлым испугом.

— Так это — мистификация?!.. Так это — ты сам, нарочно?!.. А я-то испугалась до смерти!..»

— «Шпик ушел?» — быстро спросил Горянский.

— «За помощью побежал, — за пожарными... Я его сама просила», — улыбнулась Елена.

— «Да, я видел из окошка, как он помчался зайцем... Ну, бежим, Елена! — у нас мало времени, а шпик проклятый может вернуться...»

Горянский аккуратно затворил дверь, повернул ключ два раза, вынул его и положил в карман; потом взял Елену за руки, привлек к себе и они поцеловались нежно и бурно и побежали, держась за руки, как дети, от пылавшей факелом лаборатории, освещавшей все вблизи, — во мрак, ту-

манный и липкий, но казавшийся им светлым и приветливым, как их будущее...

Через минуту фиакр бешено мчал их по плохо освещенным улицам предместья...

Скоро потянулись светлые, пылавшие электричеством и газом, площади и бульвары, промелькнули, ослепительные днем и ночью Елисейские поля, и через полчаса Горянский вслед за Еленой подымался по лестнице на пятый этаж, мимо изумленной консьержки, которую не мог привести в себя даже золотой пятифранковик, деловито опущенный в ее ладонь Горянским, решившим разыграть галантного денди.

Только, когда он вошел к Елене, только когда опустился на диван в уютной маленькой простой комнатке, он почувствовал внезапно страшную слабость, разбитость, жаркую сладкую истому и усталость во всем теле.

Это его удивило: ведь он спал перед этим весь день, весь вечер, — почти до самого пожара...

— «Володя, что с тобой, милый? — сказала прижавшаяся к нему была Елена, изумленно отодвигаясь.

— О тебя обжечься можно, ты весь горячий, как огонь...

— Да у тебя ведь страшный жар!»

Мысли Горянского путались, ему стало казаться, что он еще в горящей лаборатории.

— «Уйди, Елена!.. Уйди!.. Горим!..

— Горячо!.. очень горячо!.. ключ затерялся — не отворить...

— Спасать!.. радишь!..

— Елена... люблю... Огонь!..» — бормотал он в забытьи.

Елена уложила его на диван, укутала, как ребенка, поцеловав нежно и испуганно, и побежала за врачом.

Напряжение последних дней и усиленная мозговая работа без отдыха, в течение недавних месяцев, не прошли Горянскому даром...

Приведенный Еленой живший поблизости старичок доктор объявил, что у больного нервная горячка

.....

ГЛАВА IV.

На острове!..

. — «Так ты не хочешь их убивать, Елена? — говорил Горянский, когда после ласк, они отдыхали разнеженно и устало на смятых подушках кровати...

— Черт с ними, пусть живут!..

— Все равно: рано или поздно волна рабочей революции сметет эту сволочь...

— А мы будем жить, жить и жить!.. Вся жизнь — наша, мы возьмем ее всю, не правда ли, детка?

— Чего нам ждать?!..

— Дай-ка сюда телефон, Елена!»

— «Не надо, милый... Тебе еще вредно, — ведь ты еще не выздоровел!»

— «Ерунда! — я здоров, как бык, или ты не довольна моими поцелуями?

— Давай сюда трубку, я хочу говорить с Чембертом... Ведь, подумай, — я совсем забыл его! — Больше месяца я не слышал его голоса!..

— Чемберт — славный, вот увидишь, Елена, он будет ревновать меня к тебе!..»

Елена подвинула к Горянскому прибор, находившийся в маленьком чемодане, включила радио-аккумулятор, быстро распахнула окно и свесила маленькую антенну...

Она хорошо помнила все наставления Горянского, которые тот ей дал перед болезнью, и гордилась тем, что в прошлый раз сама сумела поговорить с островом.

Горянский с кровати любовался ее легкими изящными движениями...

Антенна висела за окном. Солнце отбрасывало от нее сетчатую тень на обои.

Горянский взял трубку и упруго нажал рычажок прибора. — Легкий треск заискрившейся антенны... Мгновение...

— искра радио перелетала через океан. — Вот Горянский уже соединился с островом и с улыбкой прислушивался к звукам аппаратной, отдававшимся в слуховой трубке...

Он так привык к острову, что знал, помнил и чувствовал каждый прибор, каждую машину, как живую: — вот гудит большая правая «А», как большой шмель, медленно, ровно, солидно, с достоинством... Вот «Альфа» и «Бета» — быстроеходные современные, частят друг за дружкой, вперегонку, точно два славных игривых мальчугана...

Вот еле слышен серебристый шелест большой островной антенны: Горянский на минуту ясно увидел аппаратную. Он представил себе, как его искра ударила в островную антенну... Звонок!... Открылась крышка слухового прибора... Кто подойдет к нему? Дежурный телеграфист? Чемберт? Нет, он, вероятно, на работе.

. . . — «Алло! Остров! Кто у телефона?»

Горянский узнал сразу этот голос у которого ни путешествия, ни известное образование не смогли отбить акцента еврейского предместья.

— «Это — я, коллега Тамповский!

— Я — Горянский, умерший, воскресший и выздоровевший, и собирающийся вам всем задать хорошую взбучку».

— «Здравствуйте, господин Горянский, здравствуйте!.. Уж мы все тут так обрадовались вашему выздоровлению!.. За вами через два дня пошлют аэроплан...

— Вы знаете — небывалая вещь: в России — революция! — Царь арестован! — Ну что же вы на это скажете, а?»

— «Ладно, ладно... — улыбнулся Горянский, — об этом после поговорим, а пока попросите к аппарату Чемберта».

— «Бегу, бегу, господин Горянский!»

Горянскому показалось, что он видит, как Тамповский суетливо скатился вниз по лестнице аппаратной.

— «Горянский — вы?» — раздался через две минуты низкий густой голос Чемберта.

Горянский чувствовал, как сквозь внешнюю сдержанность, в голосе этом трепетали и бились нотки радости.

— «Я, дружище Чемберт, я! Звоню из Парижа... Здоров, как стадо четвероногих, и счастлив, как тысяча ослов...

— А у меня есть женка, Чемберт!.. — маленькая, славненькая и такая хорошенькая... Вот она сейчас стоит у окна и краснеет, что я вам ее расхваливаю.

— Вы, смотрите, не вздумайте за ней ухаживать, а то я теперь выздоровел и кровожаден, как испанец, моментально вызову вас на дуэль!..»

— «Поздравляю вас, мистер Горянский... — Горянский уловил в его голосе оттенок грусти.

— А как ваши успехи?»

— «Великолепно, мистер Чемберт!.. Идеально!.. Сногсшибательно!..

— Я не только добился десяти верст в секунду, но я, кажется, сумею избавить вас от всех материальных затруднений!..

— Ликуйте, Чемберт! Мы — Крезы, мы — Ротшильды!.. Богатство всех банков обоих континентов — ничто в сравнении с тем, что будет у нас через два дня!..

— Победа, Чемберт!.. Полная победа!.. «Победитель» взлетит к звездам! — это так же верно, как то, что я сейчас расцелую эту маленькую белую мышку, которая дуется на меня вот здесь у окна...

— Дружище Чемберт, мне надоело дожидаться! — Я здоров, как вагон поросят, как стадо коренастых кретинов...

— Я не могу больше ждать, вышлите за нами машину сегодня же. Я хочу пожать вашу твердую честную руку, хочу вдохнуть воздухом моего острова, хочу видеть моего старшего брата, сына луны и неба — Чигриноса!..»

— «Мистер Горянский, — послышался радостный голос Чемберта, — я сделаю распоряжение сию же минуту, только не повредило бы это вам — может, вы еще не совсем поправились?»

— «Пустяки, Чемберт, я крепок, как паровоз... Я готов боксировать с Джонсоном и бороться с Геркулесом...

— Итак, Чемберт, я вешаю трубку...

— Значит, до скорого свиданья!..

— Л/з уже летит за нами?.. Что? Телефон из ангара испорчен и Мукс бежит в ангар?!

— Люблю Мукса, — очаровательный чертенок!..

— Вы знаете, если он вам будет очень надоедать, отпустите его к нам в Париж, — пусть прокатится по воздуху...

— Кто летит, — Джонни? — Ну, он его наверное, возьмет...

— Я окончательно вешаю трубку... — Значит, через три часа машина прибудет к нам? — До скорого свиданья на острове, дружище Чемберт!»

— «Собирай пожитки, Елена! Сегодня мы определенно покидаем Париж».

— «Я рассержусь на тебя, Володя, если ты так будешь говорить обо мне своим друзьям. — Тебе смешно, а мне совестно».

— «Не сердись, детка!.. — сказал Горянский, вставая с кровати, закутанный в одеяло, как римлянин в тогу. — Давай помиримся!»

Он привлек ее к себе и вкусно поцеловал, исполняя обещание, данное по телефону Чемберту.

Елена отбивалась, смеясь, и делала вид, что сердится.

Незаметно проходило время.

Звонок внизу напомнил им, что пора отправляться.

— «Это — за нами», — сказал Горянский уверенно. Он был прав.

Елена пошла отворять.

— «Здесь живет Елена Родстон?» — раздался голос в прихожей.

Через минуту маленький черный Мукс в необыкновенной ширины брюках и в тирольской шапке с перьями вкатился в комнату и с радостным восклицанием бросился к Горянскому.

— «Мистер Горянский! Вот хорошо, что вы выздоровели!..

— А как интересно лететь! Какой большой Париж внизу, а сверху — какой маленький!..

— А знаете, — я не боялся, — вот спросите у Джонни!»

Горянский опустил руку в его пышную, черную шевелюру и погладил по голове.

В дверях стояла улыбавшаяся Елена и вошедший Джонни.

— «Гуд дэй, мистер Горянский!.. Аппарат — в вашем распоряжении.

— Когда изволите отправляться?»

— «Сейчас, Джонни, сейчас!» — ответил Горянский, пожимая ему руку и с удовольствием вглядываясь в его крепкое обветренное лицо.

— «Как же мы поднимемся?.. — вспомнила осторожная Елена. — Ведь сейчас — день, тебя знают в лицо. — И потом появление аппарата возбудит всеобщее внимание...»

— «Ерунда!.. — махнул рукой Горянский, — пойдем напролом!

— К чертовой матери шпиков!.. — Они надоели мне хуже горькой редьки...

— Улетим, Джонни, не правда ли? — Ведь французы нас не задержат?»

— «Оль-райт! — мистер Горянский. — Как вам будет угодно, а только не может этого быть, чтобы французы задержали англичанина!..

— Вот только, если мистрис говорит, что вас могут узнать, то разрешите предложить вам это...» — он протянул Горянскому каску авиатора с громадными наушниками и наглазниками.

Это была превосходная мысль — каска делала Горянского совершенно неузнаваемым.

— «Молодец, Джонни! — Беги за автомобилем, Мукс! — Только обязательно закрытый и поприличнее... — Горянский радовался, как ребенок, предстоящему отъезду.

— Позови консьержку, Елена! Квартиру твою мы на всякий случай оставим за собой, она еще может пригодиться...»

— «Мы уезжаем, — заявил Горянский появившейся консьержке. — Квартиру считайте за нами... Вот вам плата вперед за полгода. За вещами вы присмотрите».

Консьержка удалилась, оглашая воздух изъявлениями преданности и восторга.

Вместо нее появился Мукс, сияющий, и объявил, что автомобиль у дверей.

Елена собирала последние свертки.

— «Где машина, Джонни?» — осведомился Горянский.

— «В воздухе, мистер, над Марсовым полем... На две тысячи метров...»

— «Там, наверху!» — дополнил Мукс, тыкая в потолок черным пальцем.

— «Как? — удивился Горянский, — так вы — не одни?»

— «Нет, — ответил Джонни, — с машиной Апфель... Я спустился у северных предместий, а его послал в воздух... Нас предупредил Чемберт о предупреждении мистрис и мы приехали к вам на метрополитене, но вы не беспокойтесь: мы можем сообщить Апфелю в любую минуту, на аппарате есть радио-телефон, а у меня в кармане — приемник».

— «Прекрасно, — сказал Горянский, — тем лучше, — мы проучим всех парижских шпииков. — Ты готова, Елена?»

Мукс, Джонни и Елена стали переносить в автомобиль необходимые вещи; Горянский просил Елену брать с собой как можно меньше.

Потом Елена закрыла дверь и передала ключ консьержке.

Через пять минут все четверо мчались в закрытом автомобиле по направлению к Марсову полю.

Не доверяя слабому приемнику Джонни, Горянский сам привел в действие свой прибор. Минута — и он уже разговаривал с Апфелем:

— «Алло! — Л/З! — Апфель!» — говорил Горянский.

— «Слава богу! — слышался радостный голос летчика, — а я уже целый час кружу над Парижем, — Джонни и Мукс — с вами?»

— «Все здесь, успокойтесь Апфель... — Аппарат маскирован на французский лад?»

— «Да, господин Горянский!»

— «В исправном состоянии? — Баки защищены? — Прекрасно!.. Ну, вы — смелый человек, Апфель! — Я надеюсь на вас!..»

— Спускайтесь на 300 метров и кружите над Марсовым.
— Через пять минут мы будем там».

Марсово поле было уже близко. Вырисовывался четко огромный, изящный и кружевной абрис Эйфелевой башни.

Над полем кружилось, как и всегда, несколько учебных военных аппаратов. Горянский сразу узнал Л/3 — изящная птица парила над полем широкими плавными кругами; ее маскировка французскими военными отличиями предохраняла ее. Ее, очевидно, принимали за испытываемый новый военный аппарат и мало обращали на нее внимания. Пока все шло прекрасно.

— «Спускайтесь!» — телефонировал Горянский Апфелю.

— «Есть, мистер!» — отвечал Апфель.

Изящная птица резко наклонилась и плавно планировала к подножью Эйфелевой башни, куда медленно подъезжал автомобиль.

Но тут экспансивность Мукса внезапно спутала все планы Горянского: увидев спускавшийся Л/3, не в силах, по-видимому, сдержать душивший его восторг, Мукс мячиком выпрыгнул из автомобиля и бросился навстречу, размахивая белым носовым платком и крича что-то нечленораздельное.

Елена высунулась из окошка и стала звать Мукса обратно.

Шофер остановил автомобиль.

Какой-то человек в военной форме подошел близко к автомобилю и внимательно посмотрел на Елену.

— «Ба! — мадемуазель! Да ведь мы, кажется, с вами знакомы?!

— А как вы думаете, сгорел или не сгорел ваш дружок?»

— «Сыщик! — сразу узнала Елена масляную физиономию. — Боже мой, что теперь будет?!» — она в испуге задернула занавеску и, откинувшись на сидение, задыхаясь, шепнула об этом Горянскому.

Сыщик между тем вскочил на подножку и, откинув дверцу, заглянул внутрь автомобиля.

— «Что же вы от меня спрятались, милочка? — Э, да вас тут трое!

— А сгоревший-то, оказывается, жив! — кивнул он на Горянского, который, как назло, был в этот момент без каски.

— А так вот оно что! — Нас, оказывается, надули!»

— «Парень! — обратился сыщик к шоферу, — я агент полицейской префектуры. Это — государственные преступники, ты мне за них отвечаешь».

— «Милостивый государь! — обратился он к Горянскому, направляя на него револьвер, — я вас арестую. — И вас, барышня, тоже.

— Следуйте за...»

Продолжать ему не пришлось: мощный боксерский удар Джонни опрокинул его с подножки; Апфель, между тем, был уже почти над землей.

— «Вперед!» — скомандовал Джонни шоферу.

Тот не двигался...

Джонни выскочил из автомобиля, выхватил револьвер из рук ошеломленного падением и ударом сыщика и направил его на шофера, уловив его едва заметное движение удрать.

Терять времени было нечего. Горянский, приподняв на руках Елену, посадил ее в аппарат; выпрыгнувший Апфель вместе с огорченным Муксом перекладывали вещи.

— «Пора, Джонни!» — сказал Горянский, когда вещи были уложены и все, кроме Джонни, были уже в аппарате.

И действительно было пора: сыщик, очевидно, уже оправившийся от увесистого кулака Джонни, поднялся и бежал по направлению к военным ангарам. Горянский указал на него Джонни, — Джонни поднял револьвер.

— «Оставьте, не надо, Джонни!» — в один голос воскликнули и Елена и Горянский.

— «Воля ваша, мистер! А только напрасно вы... — Да и этого молодчика, — он указал на шофера, — не мешало бы связать! — Наделают они нам еще хлопот!... — пробормотал Джонни сквозь зубы.

— «Отправляйтесь, отправляйтесь, Джонни!» — торопил его Горянский.

Джонни влез в машину и, взяв одной рукой рычаг, а из другой не выпуская револьвера, обратился к шоферу:

— «Мы сейчас поднимемся. У нас с собой бомбы. — Если вы двинетесь с места, мы вас взорвем! — Пока мы не улетим, — не двигаться — слышите?» — он положил револьвер в карман и неторопливо пустил двигатель машины. — И — вовремя.

На противоположной стороне поля уже суетились люди; сквозь шум двигателя прорывалось хлопанье ружейных выстрелов, расходились белые дымки по ним стреляли.

Джонни пустил двигатель полным ходом.

Мгновение разбега, когда земля с безумной скоростью уносится назад.

И вдруг поле, автомобиль, ангары стали проваливаться вниз.

Машина плыла в воздухе; могучие контуры Эйфелевой башни появились почти рядом; аппарат огибал башню слева.

Близко проносилась изящная железная плетень башни, легкая и кружевная, хотя сделанная из тяжелого массивного металла.

Видна была кучка людей, смотревших на аппарат, один из них, очевидно лакей ресторана, приветственно махнул передником.

Елена в первый раз летела на аэроплане; голова ее сладко кружилась; Елене казалось, что она немного пьяна; нежно, радостно прижималась она к Горянскому.

Вдруг белое облачко показалось у переплетов Эйфеля; сквозь ровный шум двигателя и шуршанье ветра что-то звякнуло, как будто лопнула туго натянутая струна.

Выстрел с башни пробил крыло аппарата.

— «Год дэм!» — выругался Джонни.

— «Осторожнее, Джонни, дальше от башни!» — крикнул Горянский.

Крутой вираж положил аппарат на правое крыло — Джонни уходил от коварства Эйфеля...

Елена зажмурила глаза — ей показалось, что они сейчас упадут...

Джонни выровнял аппарат, и они пошли на подъем.

Внизу еще стреляли.

Через несколько минут, однако, уже почти ничего не было видно; ангары представлялись маленькими, как игрушечными, и даже Эйфелева башня казалась невысокой темной иглой. На север раскидывалась красочная панорама Парижа, похожая на план или карту; еще несколько минут — и все внизу слилось в сплошное...

Ровный прохладный ветер обвевал лицо, ни одного звука не доносилось; только однотонный шум двигателя нарушал безмолвие. Джонни взял курс на северо-восток.

Горянский закутался поплотнее в меховое пальто, прижался ближе к Елене и, чувствуя внезапную усталость, опустил голову и на высоте две тысячи метров, на коленях у Елены заснул крепко и сладко, как ребенок.

Через три часа они спланировали на остров.

ГЛАВА V.

«Победитель».

«Вот, Елена, — главное дело всей моей жизни!» — сказал Горянский, когда перед ними широко распахнулись двери эллинга и яркий солнечный луч заулыбался на широких железных боках «Победителя».

Горянский поправился и загорел за неделю, истекшую с момента их прибытия на остров. Глаза его утратили лихорадочный блеск и смотрели спокойнее и строже. Голос звучал вдумчиво и глубоко.

Сегодня он хотел объяснить Елене сущность работы, составлявшей смысл его жизни.

Чемберт стоял невдалеке и незаметно, но внимательно вглядывался в Горянского и Елену.

Он изучал ее все время, с момента ее появления на острове, и его враждебность начала рассеиваться. Но оттенок какой-то неопределенной зависти, чего-то похожего на ревность остался в его сознании и теперь. Он внимательно, настороженно ловил каждое выражение ее лица, следя, как менялось оно под влиянием страстной речи Горянского, показывающего свое детище.

— «Елена, — говорил Горянский, взволнованно расхаживая по эллингу, — представь себе дикаря, стоящего на берегу первобытного океана; — представь себе этот низкий нависший горизонт, это тяжелое мутное небо, эту серую белесую муть, заволакивающую туманом все на расстоянии двадцати-тридцати верст...

. . . Эти страшные непроницаемые свинцовые воды. . . И вообрази, что должен был чувствовать первобытный человек...

— Он казался себе былинкой в сравнении с мощью океана.

— «Никогда, — думал он, — не сумею я преодолеть эти неизмеримые пространства воды!.. Никогда не узнаю я, что там на противоположном берегу, и есть ли этот другой берег, или там, за страшными скалами Сциллы и Харибды — конец мира!..» — так, вероятно, думал первобытный человек.

— А сейчас гений Фультона и объединенный труд людей расшвырял по всем морям и океанам паровые суда, и легко во всех направлениях пересекают водные пространства созданные человеком железные громады.

И перед громадным воздушным океаном в изумлении и испуге стоял дикарь, завидуя птицам, и не только дикарь, а лет сто тому назад и цивилизованный житель Европы 18-19-го столетия, говорил: — «Это сумасшествие!.. это невозможно!.. это противоестественно!.. — Никогда человек не сможет летать, как птица!..»

— Совсем недавно, каких-нибудь двадцать пять-тридцать лет тому назад, управляемый полет человека считался совершенно невозможным, и вот сейчас дирижабли и аэропланы пересекают атмосферу земли повсюду, почти не считаясь с расстоянием и погодой.

— И мы сами с тобой, Елена, прилетели из Парижа, пройдя по воздуху больше двух тысячи верст...

— Неужели ты думаешь, что на этом остановится полет человеческой мысли?

— Взгляни на небо!.. Сейчас день, и одно только солнце нашей планетной системы — ничтожнейшее из мириадом солнц, наполняющих вселенную — виднеется на небосводе.

— Ночью видны триллионы триллионов и секстильоны секстильонов иных миров, разбрызганных в пространстве...

— Неужели ты думаешь, что человеческая мысль прекратит свое упругое стремление, неужели ты думаешь, что мы не сумеем проникнуть на эти отдаленные островки жизни, затерянные в пространстве?!.. — Подумай, Елена!.. Как за эпохой ходьбы, езды и плавания последовала эпоха летания...

— Как за телегой, пароходом и паровозом последовали Монгофлиер, дирижабль и аэроплан, так естественно, ло-

гически и неизбежно на очереди за эпохой летания в атмосфере земли должна последовать эра заатмосферного космического летания.

— Я понимаю, что тебе страшно ночью погружать свой взгляд в неизмеримое, страшно даже представить себе эти безграничные холодные пространства, в сравнении с которыми человек меньше, чем былинка перед океаном. — Но тем не менее человеческая мысль побеждает и тут: — «*Sic itur ad astra!*»

— Вот надпись, которую я велел высечь на железном борту «Победителя». — «Таков путь к звездам!..»

— Вот один из древнейших заветов человечества, и «Победитель», надеюсь, с честью выполнит этот завет и первый укажет путь к звездам...

— Когда люди чего-нибудь сильно хотели и не могли сами этого добиться, они наделяли желаемыми свойствами свои абстрактные построения — бога или дьявола. Мы знаем, что христианские и эллинские божества в христианской и античной мифологии обладали способностью передвижения в космическом пространстве...

— Мы знаем, что у Гете Мефистофель, схватив ошеломленного Фауста за шиворот, тащит его за собой под звездным паркетом.

— Время басен и сказок прошло...

— Мы не нуждаемся в помощи чертей и богов! — Вот машина, реальная, как ты и твой поцелуй, которая будет переносить людей к звездам.

— И принцип, положенный в ее основу, — чрезвычайно прост:

— Ты видала когда-нибудь по улицам распалившихся мальчишек, которые, пугая прохожих, взрывают у них под ногами маленькие ракетки — «шутихи»?

И эти мальчишки, беззаботно хохоча и наслаждаясь испугом прохожих, вероятно, никогда не думают, что в своем радостном хулиганстве они лицом к лицу соприкасаются с разрешением величайшей проблемы о победе над межзвездным пространством.

— Точно так же, как об этом, вероятно, никогда не думал какой-нибудь крепостной фейверкер или пиротехник, высеченный розгами предварительно и запускающий в небеса римскую звезду или бенгальский огонь на потеху помещику...

— Точно так же не думал какой-нибудь шалый школьник, запускающий с последней парты бумажную стрелу с чернильной кляксой на лысину учителя, что он вплотную подходит к вопросу о полете аэроплана...

— От великого до смешного — только шаг! Это опостылевшая пошлая истина; и одно и то же расстояние отделяет бумажную стрелу, несущую чернильную кляксу на лысину педагога, от современного гигантского аэроплана, и маленькую шутиху от межпланетного корабля.

— Взгляни на нашего «Победителя»! — Это не что иное, как громадная ракета, и в то же время это — истинный экипаж вселенной, междупланетный корабль.

— Тебя удивляет, что я говорю о ракете? Тебе кажется, что ракета должна обязательно оттолкнуться от чего-то, и что в безвоздушном пространстве, где она не будет иметь от чего отталкиваться, где у нее не будет точки опоры, — она не полетит?..

— Это неверно! — Ракета по существу является реактивным двигателем, она вовсе не нуждается в обязательной точке опоры, наоборот, она сама создает ее себе; она так же полетит в безвоздушном пространстве и в абсолютной Торичеллевой пустоте и даже лучше, так как там не будет сопротивления; она летит, если так можно выразиться, отталкиваясь от взрыва, то есть, вернее, она движется по принципу отдачи, используя энергию, развиваемую во время взрыва, и если силу газов, истекающих из нее во время взрыва, мы обозначим, предположим, «2», то сама ракета получит поступательное движение, в силу отдачи, со скоростью 2, независимо от того, находится она в плотной среде или разряженной.

— Мысль о применении ракеты принадлежит не мне: ее разработали еще до меня: — Кибальчич, Циолковский, Эснопельтри; но я нашел то, чего им найти не удалось: я соз-

дал двигатель «Победителя», — тот самый реактивный двигатель, без которого межпланетная ракета мертва, — вот он!» —

Он вынул из кармана и поднял высоко на вытянутой руке ту небольшую коробку, которой он уже однажды так напугал Елену, предложив ей взорвать Париж.

Она невольно отодвинулась от этой маленькой страшной коробки.

— «Не бойся, Елена! — улыбнулся Горянский, — да, здесь сосредоточена необычайная сила, но тебе она не причинит вреда.

— Это — радий, это — тот таинственный металл, который с таким трудом добывали до сих пор люди!

— Я научился разлагать его на составные части и при распадении частиц я получил нужную мне стихийную силу взрыва.

— Нужна громадная скорость — свыше десяти верст в секунду, чтобы преодолеть земное тяготение и кинуть планету к звездам и потом вести ее в желаемом направлении в пространстве!

— Эта скорость у меня есть.

— Ее мне дал радий. Мало того, — он мне дал еще одно: — мы с тобой сказочно богатые люди, Елена! — Я нашел философский камень древних алхимиков, — мы можем делать золото!

— Я выполнил свое обещание Чемберту, данное по телефону, помнишь? — И в кладовой Чемберта уже имеются слитки золота, полученные радиоактивным путем.

— Текучие неустойчивые элементы дают возможность менять выражение лица природы, сущность которой едина.

— Получить золото не труднее, чем получить свинец, чугуны, латунь, олово...

— Одним и тем же способом можно превратить свинец в олово или в золото.

— Сущность материи — едина и капризные изменения ее форм всецело в руках того, кто владеет элементами распада радия: с помощью радия я могу металл или даже минерал превратить в золото.

— Если бы мы захотели, — мы легко бы вызвали крах всей буржуазной финансовой системы, обесценив на рынке золото, — навезя его сотнями пудов...

— Так радий помог нам привести в движение ракету и разрешил наши финансовые затруднения...

— И ты сейчас — не только жена капитана космического корабля, но и миллиардерша, Елена!..

— Но вернемся к «Победителю» — понимаешь ты теперь, Елена, каким образом полетит наша ракета?»

— «Как будто, я в общем уяснила себе принцип ракеты, но мне кажется, что она сгорит или разобьется на тысячу кусков, если прыгнет от земли с такой страшной скоростью: — десяти верст в секунду, как ты говоришь...

— По-моему, она должна загореться от трения о воздух; — ведь болиды и метеоры, попадающие к нам — эти падающие звездочки — сгорают в атмосфере...»

— «Правильно, Елена, — согласился Горянский, — и если бы ракета с такой скоростью ударилась бы в подушку земной атмосферы, то она, вероятно, еще прежде чем сгореть рассыпалась бы в пыль, — но она будет развивать скорость не сразу, а постепенно....

— В этой-то возможности широко варьировать скорость и заключается решение вопроса о том, можно или нет доставить человеческие существа живыми с одной планеты на другую.

— Ведь если бы мы, как герои Жюль Верна, захотели воспользоваться не ракетой, а пушкой, то прежде всего живые существа, заключенные в ядре, погибли бы от одной резкой перемены скорости, — просто погибли бы от перехода из неподвижности к скорости в несколько верст в секунду, которой обладает ядро при вылете из дула; они были бы расплющены о дно своего ядра.

— Вообще до сих пор никто еще из живых людей, кроме знаменитого барона Мюнхаузена, не умел путешествовать на ядре верхом или внутри его!

— Наша же ракета в противоположность ядру развивает вначале очень незначительную, сравнительно, скорость, не свыше тысячи верст в час, то есть лишь в два с половиной

раза больше современного аэроплана, — ну, хотя бы нашего Л/З, на котором мы сюда прилетели.

С такой скоростью она прорезает плотный слой нашей земной атмосферы, который, как тебе известно, невелик и простирается над землей всего лишь на четыреста-четыре-ста пятьдесят верст...

— Полчаса будет более чем достаточно для ракеты, чтобы очутиться за пределами земной атмосферы в пустоте...»

— «Но ведь пассажиры ракеты все равно погибнут, невзирая на отсутствие сопротивления, если ракета разовьет свои десять верст в секунду, так как разница в скорости все равно будет огромная!» — возразила Елена.

— «Да, — и поэтому она все время, даже и в безвоздушном пространстве, все будет увеличивать скорость постепенно и равномерно, — ответил Горянский. — А с помощью медленного постепенного перехода можно приучить живые существа даже к очень большим скоростям».

— «Хорошо, — сказала заинтересованная Елена, — но если даже пассажиры ракеты перенесут такую ужасную скорость, благодаря постепенному нарастанию, то как же вы спасете их, когда ракета с такой безумной быстротой упадет на поверхность планеты, куда будет направлена? — Не сможет же она лететь в пространстве без конца, ведь придется же ей когда-нибудь причалить!»

— «Скажи, Елена, — ответил ей Горянский вопросом на вопрос, — когда поезд подходит к станции, он замедляет ход, не правда ли? — Почему нашей ракете не сделать то же самое?»

— «Да, но ведь у поезда есть тормоза, а каким образом ты затормозишь ракету в пустоте?»

— «Елена, — обратился к ней Горянский, — можно тебе задать маленькую задачу, вроде тех, которые ты, вероятно, решала давно, в гимназии.

— Ты не удивляйся, если она покажется тебе страшно простой: если у тебя будет десять рублей, а я у тебя отниму рубль, сколько останется?»

— «Девять...» — удивилась Елена.

— «Ну, а если еще рубль у тебя возьму?»

— «Ну, восемь!..»

— «...И так буду отнимать постепенно, пока у тебя останется вместо десяти рублей, ну, десять копеек, — может это случиться?»

— «Конечно, может...» — удивилась Елена, все еще не понимая.

— «Я думаю! — засмеялся Горянский, — у меня были приятели, которые спускали и более крупные капиталы...

— Теперь — другая задача: «течет речка, через речку — мостик, а на мосту — овечка, а у овечки — хвостик», как поется в песенке...

— И течет она, — не овечка, а речка, конечно, — со скоростью, ну, предположим... пяти верст в час.

— А по речке по течению плывет пароход со скоростью десяти верст в час.

— Какова скорость парохода относительно берега?»

— «Ну, пятнадцать верст, — сказала Елена, — к его скорости скорость течения прибавится!»

— «А, если он вздумает повернуться против течения, тогда что?»

— «Тогда он будет плыть со скоростью только пяти верст...»

— «А если подымет ветер, течение усилится и станет, предположим, шесть верст?»

— «Тогда пароход будет проходить только четыре версты...»

— «А если — семь?»

— «Тогда — три...»

— «Ну, а если — все десять?»

— «Тогда станет неподвижно».

— Теперь вернемся к нашей ракете: она летит со скоростью десяти верст в секунду; давай-ка отнимать у нее скорость так, как у тебя деньги в первой задаче или же течение — скорость у парохода — во второй».

— «Да, но каким же образом?» — спросила Елена.

— «Да очень просто! — Вспомни принцип реактивного двигателя!»

— Ракета летит прямолинейно и равномерно увеличивая скорость рядом последовательных взрывов. Давай также постепенно и равномерно отнимать у нее скорость рядом последовательных контр-взрывов, то есть реактивных процессов, направленных в сторону, противоположную движению ракеты».

— «Понимаю! — Понимаю! — воскликнула Елена. — Это будет, как во втором примере, когда пароход идет против течения, которое все усиливается, и пароход, наконец, останавливается...»

— «Совершенно верно! — обрадовался Горянский, которому было приятно, что Елена его поняла. — Мы совершенно прекращаем реактивные процессы, с одной стороны, и ракета продолжает лететь лишь в силу инерции, а с другой стороны — мы вызываем те же процессы в обратном направлении ракеты».

— И сначала медленно постепенно замедляем скорость, а потом сводим ее совершенно на нет, и ракета причаливает к поверхности предполагаемой планеты и, даже еще тише и спокойнее, чем аэроплан, — садится на землю.

— Конечно, — повторяю, что замедление скорости, так же, как и нарастание ее в начале полета, должно производиться медленно, равномерно и крайне осторожно, чтобы не отразиться на жизни пассажиров».

— «А как же возвратится ракета на землю?»

— «Ну, это уж совсем просто! — улыбнулся Горянский. — Да тем же самым способом, помощью тех же реактивных процессов...»

— Я полагаю, что путешественники будут запасливы и возьмут с собой достаточный запас радия для путешествия туда и обратно.

— Итак ты видишь, Елена, что наш «Победитель» в полном смысле — корабль вселенной и корабль управляемый: он может двигаться в любом направлении и его легко повернуть, направляя по желанию струю истекающих при взрывах газов, — таким образом перемещая точку отдачи.

— Электрическая печь предохранит каюты «Победителя» от невыносимого холода межпланетных пространств;

прочность стали, из которой сделана ракета, гарантирует «Победителю», что он не разломается от последовательных реактивных взрывов и не раздуется, как рыба, вытасченная на берег, от давления воздуха изнутри, когда очутится в безвоздушном пространстве.

— Целый ряд усовершенствованных мною приборов, которые употребляются на подводных лодках, установленных внутри «Победителя», будет изготавливать искусственный воздух и, поглощая вредные газы и отделения, будет поддерживать внутри чистоту атмосферы.

— Мы возьмем, конечно, с собой обильные запасы провианта, в виде всевозможных консервов.

— Радио-телеграф и радио-телефон, ты видишь, Елена, для этой цели мы выстроили эти восемь башен и эту центральную главную, которая в два с половиной раза больше парижского Эйфеля, — будут соединять космическую ракету, летящую в пространстве, с нашим островом, точно так же, как тот же беспроволочный телеграф соединяет какой-нибудь затерянный в океане пароход со всеми городами Европы и Америки и дает пассажирам возможность получать каждое утро свежие новости; скажу больше: даже если произойдет какое-либо несчастье и у пассажиров иссякнет запас радия, вернее — радио-активной смеси, без которой невозможна работа реактивного двигателя и немислим полет ракеты, то с острова можно послать им запасы энергии через пространство космической пустоты с помощью наших башен радио, так как мною открыт способ передачи энергии на расстоянии.

— Только это будет, конечно, страшно невыгодно и дорого, так как больше половины передаваемой энергии рассеется в пространстве.

— Таким образом, всюду, даже в отдаленнейших уголках вселенной, ракета — маленькая планетка, сделанная человеческой рукой, будет, как ребенок пуповиной с матерью, связана с нашим островом и родной землей!

— Остаются лишь некоторые детали аппарата: приспособление для посадки — нечто вроде шасси аэроплана, только смотри, Елена, какое солидное!

— Сложная система буферов снаружи, из мягких эластичных пружинящих стенок — внутри, для смягчения возможных толчков; ассортимент всевозможного оружия, причем сверх обыкновенных карабинов, винтовок и так далее, — более десятка электрических ружей, соединенных с реактивным двигателем, которые могут в любой момент дать разряд, молнию почти во всю мощность двигателя; если же ее окажется мало, то, повторяю, можно послать по радио запас энергии в любом количестве, так что каждое такое ружье есть, собственно, пушка в потенциале.

— Специальные костюмы, наподобие водолазных, из непроницаемой материи, с запасом воздуха, при наличии вооружения, о котором я уже сказал, также имеются на борту «Победителя» чтобы предохранить путешественников от бактерий и неизвестных химических и иных опасностей, когда придется вступить на почву неисследованного людьми неведомого мира.

— Еще одно приспособление: особые изогнутые ванны, заполненные водой до половины человеческого роста, в которые войдут путешественники для смягчения первоначального толчка при отправлении с земли.

— Сверх того будет еще специальный резервуар для питьевой воды и, кроме того, конечно, запас всяких лекарств и медицинских снадобий.

— Вот почти все детали машины, которой суждено будет осуществить древнейшую и грандиознейшую мечту человечества — мечту о полетах на звезды...

— Я не знаю, конечно, что мы встретим там, — но об этом мы не будем говорить, — живой или мертвый, вероятнее всего — живой, через несколько дней я сам буду там и увижу все это собственными глазами!

— Жаль, Елена, что я не могу показать тебе сейчас внутренность «Победителя», — мы устанавливаем там главную трубу реактивного двигателя и сейчас туда нельзя пройти. Через два дня они закончат и тогда я все покажу тебе; там внутри очень уютно: славная светлая каютка и, кроме того, несколько отделений.

— Ты прости меня, детка, я утомил тебя, вероятно, этим длинным описанием машины?!»

С новым чувством уважения и страха смотрела Елена на металлические контуры «Победителя» и думала, что на днях он унесет в холод, безмолвие и пустоту ее Володю...

— Конечно, все выверено, предусмотрено, рассчитано, — они работают над этим уже десять лет. Спокойствие Чемберта и уверенность Горянского передавались отчасти и ей, а все же страшно: а вдруг — ошибка, а вдруг — неудача?!..

Может быть, когда-нибудь люди и будут лететь безопасно на планеты, как сейчас они летают по воздуху, но только первые авиаторы ведь разбились насмерть!

— А это ведь первый прыжок с земли в космические пространства.

— Страшно!

— А вдруг — гибель?

— Что ж? — Тогда погибнуть вместе с ним!

— Нет, нельзя, нельзя отпустить одного Володю!

Она опустила глаза и сказала робко, не глядя на Горянского:

— «Володик, возьми меня с собой! — Можно?»

— «Это — мужское дело, детка!» — улыбнулся Горянский.

— «Володик, я не буду мешать! — Я тоже что-нибудь буду делать... Я спрячусь в углу, я — маленькая...

— Володя, мне страшно, я боюсь отпустить тебя одного!..»

Горянский собирался рассердиться, но, взглянув в ее глаза, которые теперь широко открытые смотрели на него, полные просьбы и ласки, — смягчился:

— «Милая, как она меня любит!» — подумал он и сказал:

— «Ну, что ж? Если не боишься, — молодец!

— Хорошо, — едем вместе!»

— «С тобой я ничего не боюсь!..» — подошла к нему близко Елена.

Чемберт ушел; в эллинге были только они двое; Горянский крепко поцеловал Елену.

— «Мистер Горянский! — Мистрис Елена! — донесся к ним заливающийся голосок Мукса и почти тотчас же появилась его ослепительная черная физиономия. —Идите обедать, суп остынет! — Мистер Чемберт послал за вами!»

Горянский и Елена отправились обедать, предводительствуемые Муксом.

ГЛАВА VI.

Накануне.

Горянский стоял у открытого окна; вечерняя свежесть вливалась в комнату и целовала в губы...

Елена заснула у себя.

Горянский один любовался необозримым ночным небом; как громадный кусок темно синего хрусталя, усеянного золотыми блестками звезд, загромождало оно высь — далекое и недостижимое...

Млечный путь, тонкий, прозрачный и серебристый неуловимо мерцал в бездонной высоте, тая зародыши новой космической жизни...

Небо, беременное солнцами, раскидывалось перед Горянским, как зовущая темноволосая женщина и, казалось, говорило ему:

— «Иди!..»

— «Я приду, — думал Горянский, — я возьму тебя, моя космическая любовница!»

Луны не было видно — она боялась показаться на глаза смельчака, полетом мысли и творчества державшего оскорблять ее целомудрие.

— «Завтра я буду там! — шептал Горянский, — завтра... завтра...» — Он опустил взгляд вниз.

Башни радио легко возвышались во мраке; в домиках рабочих не было огней — все очевидно, уже спали...

Массивные формы «Победителя», освещенные электричеством, вздымались недалеко от окна вправо.

Все было готово. И со вчерашнего дня стоял выведенный из эллинга «Победитель», принявший на свой борт реактивный двигатель, запас радиоактивной смеси и все необходимые запасы и приборы.

Из окна он был очень похож на грандиознейшего кита или же на маленький дирижабль.

Электрический свет дробился на гранях его обшивки и легко можно было прочесть даже ночью высеченную на носу золотую надпись: «Sic itur ad astra!»

Снаряженная и начиненная радием ракета была готова каждую минуту ринуться к звездам.

Тупой с носа и удлиненный к корме, где чуть виднелся выход реактивной трубы и руль реактивного прибора, идеально осуществлявший в своей конструкции форму падающей капли, — «Победитель» прижался к земле и глядел в небо своими темными зеркальными окнами-глазами, сделанными из двух кусков цельного хрусталя, презрительно и грозно, как на врага, приземистый и мощный, весь собравшийся, точно накопивший силу для страшного прыжка.

Горянский снова поднял взгляд в темную синеву; он представил себе необозримое пространство жуткой пустоты, отделявшее планеты друг от друга.

— «А если... ошибка? — Если сумасшедший междупланетный прыжок не удастся? — Если, смерть?»

Мгновенное сомненье укусило мозг.

— «Может быть... может быть, простое счастье с Еленой здесь, на земле, стоит дороже всех междупланетных полетов?!»

— «Выбирай!..» — казалось, говорила ночь.

— «Выбирай!..» — кричало протестующее упругое молодое тело, которому органически невозможна, противна была перспектива риска и смерти.

«Победитель», казалось, еще больше прижался к земле и ждал настороженно и любопытно ответа своего строителя и капитана.

Луна, осмелев, выкатилась из-за облаков и улыбалась тоже, насмешливо и вопросительно...

Горянский решил: нет! Он полетит во что бы то ни стало, он прыгнет на эту улыбающуюся луну, как тигр из радио-металла!

Любовь прекрасна, но ему мало одной любви здесь, на земле, и он сумеет разбрызгать и унести ее дальше за солн-

ца, в космические просторы... риск, боязнь смерти, протест мяса — не остановят его.

— Может быть, он не имеет права рисковать жизнью Елены, но своей жизнью он вправе распорядиться.

— А Елена... Он не хотел брать ее с собой, ему приятнее была бы мысль, что она — в безопасности здесь, на земле, но она сама упорно, настойчиво, хочет быть с ним.

— Что же? Пусть будет так!...

— Завтра, завтра в победе или смерти воплотится ослепительная мечта, — завтра будет подведен итог его десятилетней работе!

С легким скрипом отворилась дверь кабинета; вошел Чемберт и, подойдя к окну, положил руку на плечо задумавшемуся Горянскому.

— «Что же, завтра летим?»

— «Да», — ответил, оборачиваясь, Горянский.

Они, неожиданно для самих себя, крепко пожали друг другу руки.

— «Что-то будет с нами там, Горянский? — сказал Чемберт, садясь на окно и указывая рукой на небо. — Хотел бы я уже быть там!..

— Проверили ли вы все... ты все?.. — спросил он, сам не замечая, что переходит на ты. — Уверен ли ты в действии своих приборов?»

— «Безусловно!» — убежденно ответил Горянский. — С самого возвращения сюда я упорно контролирую все мои вычисления; ни одной ошибки! — Все правильно.

— Только одно сильно беспокоит меня...»

— «Что?» — Острые огоньки испуга блеснули в глазах Чемберта.

— «Башни радио... — вздохнул Горянский, — особенно главная, с помощью которой будет работать междупланетный беспроводный телеграф и в случае надобности можно будет бросить энергию...

— Мы сделали большую ошибку, Чемберт! Мы не приготовили себе настоящего помощника и заместителя; когда мы с вами будем в пространстве, кто же заменит нас здесь?»

— Тамповский? — Джонни?

— Хороший преданный парень, но ведь он же совершенно не интеллигентен!

— Тамповский будет хорош, пока работает радио; ну, а если что-нибудь испортится? — Он ведь только телеграфист, а не инженер... — При малейшей порче он может просто растеряться...

— Наконец, как знать, что в наше отсутствие может случиться на острове?

— Мы сделали большую, большую ошибку, и виноват в этом я!..

— Предвидеть все и упустить из виду такую простую и в конце концов несложную вещь: да ведь за эти восемь лет можно было превратить того же Тамповского или Джонни в хорошего инженера!

— А теперь не откладывать же из-за этого наш опыт еще на несколько лет, когда все уже готово?

— Впрочем, глупости! — Я разнервничался, как баба, и напрасно расстраиваю себя и вас, Чемберт: машины работают прекрасно — я сам вчера их осматривал; — мы вернемся через два-три дня. Почему же им останавливаться без нас?

— Наш добрый Чигринос за эти два дня тоже, вероятно, не произведет вооруженного низвержения существующего строя!

— Не правда ли, Чемберт? — Пустяки, — все будет хорошо! — Завтра летим, Чемберт!»

— «Я останусь, — сказал Чемберт чуть слышно. Лицо его как-то сразу осунулось; блестящие ранее глаза погасли, он нервно крутил пальцами пуговицы своего безукоризненного костюма. — Это моя вина, а не ваша, Горянский, вы были заняты, вы работали над самым изобретением, над машиной, вы создавали...

— Я имел достаточно времени, чтобы обучить Джонни...

— А Тамповский... не человек!.. Его оставить одного совершенно невозможно.

— Это — моя вина, и я останусь, Горянский».

— «Нет, нет!.. — запротестовал тот, тронутый и уничтоженный таким самопожертвованием. Он понимал, чего стоит Чемберту этот героический отказ от участия в полете, который был его мечтой в течение всех десяти лет борьбы и работы.

— Нет, нет, уж если нужно, то пусть лучше останусь я!.. Я этим искуплю хоть отчасти свою непростительную идиотскую оплошность.

— Вы отдали мне все свое состояние, вы были моим братом и другом, вы меня идейно поддерживали все время; без вас я, может быть, и даже почти наверняка, не довел бы дело до конца.

— Этого бы не доставало, что бы, так сказать, у старта, в итоге работы, вы оставались за флагом!..

— Для меня достаточно будет сознания, что идея осуществлена, что машина полетела,

— Нет, если уже нужно расстаться, то честь первого полета принадлежит вам, Чемберт!»

— «Нет! — Нет, я не согласен!.. — восклицал Чемберт.

— Вы! — творец идеи, творец машины!.. Если бы не было бы вас, не было бы и ее.

— Я — только оружие, только подспорье, только средство. Вы же — цель и отец достижения цели.

— Честь первой героической, беспрецедентной в истории попытки, безусловно, ваша, и я бы сам себе не пожал руки, если бы вздумал ее оспаривать у вас, опираясь на свои деньги. — Я был бы тогда недостойн названия порядочного человека...

— Нет, вы полетите, а останусь на острове я...»

Так препирались они в немного смешной со стороны борьбе великодушия, передавая друг другу права рисковать жизнью...

Наконец, после продолжительного, искреннего спора Горянский уступил.

— Так, может быть, даже лучше!.. — говорил Чемберт, когда они потом оба, взволнованные и немного уставшие, сидели у окна, казавшегося началом темно-синего туннеля, ведущего в небо... — Мы будем общаться по радио и я

смогу записывать малейшие подробности вашего беспримерного путешествия...

— Я буду всегда держать наготове неистощимый запас энергии, чтобы, по первому вашему сигналу, послать ее вам.

— Потом я сумею распродать золото, которого у нас так много сейчас, благодаря вашему открытию; ведь вы уже более чем втрое вернули мне мое состояние! — На вырученные деньги, если вы задержитесь, — я не сомневаюсь, что вы встретите там что-нибудь сверхчеловечески-ценное и интересное, чего нет на земле, — можно будет закупить машин, поставить новое, еще более мощное радио, и я сумею даже построить и выслать к вам вторую ракету, если понадобится. — Ее можно будет сделать автоматом, управлять ею буду сначала я, потом вы, оттуда, где будете находиться, по радио...

— Да, Горянский, мы сейчас — зачинатели новой эры в истории мира и нам ли с вами спорить о первенстве?!

Летите, Горянский, — и да будет с вами победа!

— Но знайте, если с вами что-либо случится, если только замолкнет пульсация радио, доносящая ко мне ваш голос из неизмеримых пространств, — то в тот же день, когда после повторных вызовов вы не ответите, я покончу с собой. — Наша судьба да будет едина!»

И на движение протеста Горянского повторил настойчиво:

— «Я считаю долгом чести, даже расставшись с вами, оставаясь здесь, на земле, в то время как вы будете там, подвергаться равной с вами опасности...

— Но отдохните, Горянский. — Вам надо набраться сил на завтра. — Спите спокойно и крепко, милый! — нотки отцовской глубокой нежности слышались в голосе Чемберга.

— Спокойной ночи, до завтра!» — он конвульсивно пожал руку Горянского и исчез за дверью.

Горянский закрыл окно: синевы ночи уже больше не звала его... — сразу почувствовал непобедимую свинцовую усталость...

Он опустился на диванчик у окна и заснул моментально и крепко, под луной полной, бледной и грустной, и слышал, как подошла к нему и накрыла одеялом проснувшаяся после ухода Чемберта Елена.

И знала Елена, что полетят они завтра и глядела на луну, к которой они должны были устремиться, и думала, что, может быть, последняя эта ночь у нее, Елены, в жизни...

А завтра, быть может, разбрызганная на тысячи кусков, устремится она вместе с Горянским в смерть!..

И жутко было Елене и радостно стоять перед неведомым, и было это, как в детстве, когда еще девочкой стояла она на балконе шестизэтажного дома, вглядываясь вниз, в темное и пустое, и думала: прыгнуть или нет?

. . . Хотела разбудить Володю, но пожалела усталого, так вкусно и хорошо спал он, хотя очень хотелось ей услышать голос милого и говорить с ним...

И не страшной казалась луна и не злой: ласково улыбались лунные губы и, казалось, обещали и просили что-то...

Поняла Елена — любит луна Володю, как женщина, и порадовалась Елена, что не пустила милого одного

— Хорошо с милым и в жизни и в смерти вместе! И на луну смотрела победно, как на соперницу неопасную, и даже жалела ее

Так до утра просидела Елена у изголовья Горянского.

ГЛАВА VII.

В ракете.

Последние приготовления были сделаны. Чемберт вместе с Еленой взошел на верхнюю площадку ракеты, люк был откинут и в нешироком отверстии виднелась уютная, блестящая новой обивкой, внутренность каюты.

Все население острова собралось возле «Победителя»; не было только Мукса: с утра он куда-то пропал, — вероятно, убежал в селение туземцев.

Пришел Чигринос — сын Луны и Неба — посмотреть, как его младший брат, по его приказанию, как он объяснил соплеменникам, полетит на луну.

Верный Джонни неуклюже подошел прощаться и неловко смахнул нависшую слезу:

— «Мало понимаю в таких вещах, но все же не хотел бы я быть в этой чертовой штуке!..» — ворчал он про себя.

Тамповский долго и взволнованно тряс руки Горянскому и Елене и несвязно, со смешным акцентом, говорил что-то о высоких целях, героизме, человечестве и прогрессе...

Чемберт молчал и только смотрел пристально на Горянского и Елену, к которой он тоже привязался за последнее время, освещенных невысоким утренним солнцем; — странно: ему почему-то все казалось, что он видит их в последний раз. Он усилием воли отогнал эту мысль и подошел к «Победителю» попрощаться.

— «Вы — смелая и благородная женщина! — сказал он покрасневшей от неожиданности Елене, — если б вы не любили его, — он указал на Горянского, — я был бы счастлив назвать вас своей женой. — Я от души завидую вам сейчас, — голос его дрогнул — что вы летите с ним, в то время как я должен остаться...»

— «Чемберт! — горячо воскликнул Горянский, хватая его за руку, — отправляйтесь с нами! — Будь что будет! — Тамповский как-нибудь справится и без вас!»

— «Нет, Горянский, — возразил Чемберт твердо, — мы уже решили... — я остаюсь. — Счастливого пути! — Возвращайтесь скорей!»

— «Елена! — обратился Горянский к жене, — кто знает, что с нами будет через минуту, полет опасен... Но еще не поздно: может быть ты останешься?»

— «Володя!» — только сказала Елена и слезы обиды задрожали в ее голосе и глазах...

Горянскому стало стыдно:

— «Прости меня, детка! — сказал он, беря ее за руку, — ну так идем вместе навстречу всему, что нас ожидает!»

Он послал последний прощальный поклон острову и всем окружающим; Елена раскланялась тоже, и они спустились в каюту.

Громкий взрыв приветствий долетел до них; — особенно выделялся рев Чигриноса и бас Джонни:

— «Ура «Победителю»! — Ура, Горянский! — Дорогу к звездам!» — Горянский нажал боковой рычажок — люк аппарата захлопнулся, как бы защемив кусок приветственных криков; мгновенно стало тихо; сквозь окна виднелись жестикулирующие фигуры провожавших, виден был распоряжавшийся Чемберт, приветственно раскрывались рты, но не слышно было ни звука...

Вот толпа отодвигается, очевидно, по распоряжению Чемберта, отбегает подальше...

— «Пора!» — Горянский помогает Елене войти в одну из двух изогнутых, немного выше человеческого роста, ванночек, наполненных водой; поправляет у Елены под головой прикрепленную к стене подушку и напоминает, как держаться за верхние предохранительные ремни; Елена морщится — она вся промокла выше пояса; ей неприятно ощущение липнущего платья, но она покорно и молча, не возражая, протягивает руки к ремням.

Горянский подходит к двигателю, осматривает его внимательно, дает предохранительный звонок наружу, потом

— еще и, позабыв встать в предохранительную ванну, нажимает главный рычаг...

Башни радио и постройки острова, видимые из левого окна, со страшной скоростью падают вниз...

Непреодолимая сила швыряет Горянского назад... что-то больно ударяет по голове!..

В глазах — ослепительный блеск!..

Горянский теряет сознание...

.....

Когда крышка захлопывается за Горянским и Еленой, Чемберт отодвигает обступивших аппарат провожающих; с помощью Джонни удается оттащить Чигриноса, все протягивающего руки для благословения.

Раздается звонок. — Чемберт отходит сам, командует отойти еще дальше от аппарата.

Второй звонок! — испуганные туземцы с Чигриносом сами, не дожидаясь команды, убегают дальше...

Пауза...

Вдруг страшный взрыв потрясает остров! — Стекла вылетают из окон домиков, сети антенны сотрясаются у дальних башен радио... Страшный вихрь опрокидывает на землю всех присутствующих!..

Молния сверкает в небе и внезапно начинает идти дождь.

Когда опрокинутые вихрем поднимаются и, потирая ушибленные места, робко подходят туда, где стоял «Победитель», там ничего нет... Только следы шасси на песке и немного взрытая разрыхленная почва, да длинный, как канавка, след газовых излучений на земле напоминает о том, что он только что был здесь.

Больше сотни человеческих голов, невзирая на дождь, задраны кверху и упорно смотрят в высь.

Ничего — ни малейшего следа машины нет в небесах: гигантская ракета со страшной силой отпрыгнула от земли; и даже не верится, что она минуту назад была тут.

Чуть слышный запах гари щекочет ноздри...

Чемберт в тревоге — ему кажется, что взрыв был слишком силен...

Через несколько минут дождь перестает лить и безоблачное солнце снова сияет над островом...

Только разбитые окна и несколько расшибленных носов свидетельствуют об исчезнувшей ракете...

.....

Елена с трудом раскрыла глаза; она чувствовала страшную тяжесть в голове, боль в ушах и слабость во всем теле...

С удивлением оглянулась: что с ней?

— Она по пояс стоит в воде, чувствует под головой неудобную твердую подушку... затекшие руки подняты кожаными браслетами, пристегнутыми к ремням над головой.

Взгляд Елены упал на распростертое на полу у стены человеческое тело.

— «Володя!... Боже!... — Что с ним?...» — и, сразу придя в себя и вспомнив, что они в ракете, Елена выскочила из ванны, из которой вытекла уже почти вся вода, — чуть не вывихнув себе руки, выдернула их из ремней и кинулась к Горянскому.

Он лежал навзничь у стены. Лоб был окровавлен; очевидно, при падении Горянский ударился о что-то...

Елена прислушалась — он чуть слышно дышал... Сердце ее забилось от радости.

Она подошла к маленькому шкафчику, где, по указанию Горянского, должна была быть аптечка, и достала склянку с нашатырным спиртом...

После довольно длительных стараний Горянский был приведен в чувство.

Он оглянулся безумно, очевидно, еще не придя в себя, и с трудом приподнятый Еленой был посажен на диван. Она обмыла ему ранку и перевязала полотенцем лоб.

— «Елена, ты?! Где — мы? — Почему так болит голова?» — прошептал он изумленно.

И вдруг, взглянув случайно на двигатель и, очевидно, вспомнив все происшедшее, сказал громко и энергично:

— «Ну, и надо же быть таким ослом, как я! Мало того, что не встал в ванну, но еще передвинул рычаг на целых полмиллиметра больше, чем следовало! — Нужно удивляться, как это мы остались в живых!

— Кретин я — непроходимой крепости!.. Чемберт вот никогда бы не сделал такой глупости!..

— Бедняжка! — привлек он Елену к себе, — ты сама, верно, чуть жива и еще заботишься обо мне!..

— Ты вся вымокла в ванне! — Пойди в соседнюю каютку, переоденься...»

— «Сейчас, милый! — отозвалась Елена, — я так испугалась, увидев тебя на полу! — Мне показалось, что ты мертв!..

— Володя! Милый! — Мне так странно, что мы с тобой сидим сейчас здесь вдвоем в этой уютной маленькой кабинке!

— Мне все кажется, что это — сон...

— Неужели мы, действительно, в ракетке?

— Может быть мы умерли и это — тот свет?!»

— «Нет, милая, — возразил Горянский, улыбаясь, — на том свете не бывает плюшевых диванов и потом там вряд ли можно набить такую основательную земную, то есть, виноват, ракетную шишку, как у меня!.. — Он притронулся ко лбу.

— Нет, мы на самом деле теперь — в ракете, которая стала маленькой самостоятельной планетой, и, смеясь над земным притяжением, мы с безумной скоростью мчимся к луне, моя маленькая женка! — он взглянул на часы и на показатель скорости...

— Тридцать пять минут прошло с момента нашего отправления... Мы уже выходим из пределов земной атмосферы, мы висим над землей на высоте пятисот верст...

— Смотри, Елена, какой чудный, какой необыкновенный вид!» Он кинулся к нижнему окну, — увлек за собой Елену, распахнул, чтобы лучше видеть, нижнюю боковую ставню нажатием кнопки. Вид, действительно, был величественный: земля, обращенная к ним одним из своих по-

лушарий, медленно вращалась, как гигантский титанический глобус: ракета, вышедшая из атмосферы силой реактивного двигателя, самостоятельно двигалась в пространстве, не участвуя во вращении земного шара вокруг своей оси; и поэтому они могли наблюдать суточное вращение земли...

— «Володя, — воскликнула Елена в восторге, — какая прелесть! — Я никогда не думала, что путешествовать в ракете будет так интересно!»

Шар земной, немного похожий на сплющенное по концам яйцо, медленно вращал свои тяжелые мохнатые бока... Медленно проплывали океаны и материки... Контуры Африки раскинулись резко и отчетливо, как на карте.

Громадное тело земли поворачивалось, как живое. Елене казалось, что перед ней вырисовывается таинственный механизм вселенной...

— «Однако, пора увеличивать скорость!» — сказал Горянский, отрываясь от окна.

Он взглянул на хронометр, висевший на стенке, и передвинул рычаг еще на полмиллиметра.

Вращающаяся громада земли сразу стала заметно уменьшаться.

— «Сорок пять минут прошло, — сказал Горянский. — Когда пройдет час, то раздастся сигнальный звонок; каждый час нашего пребывания в пространстве будет отмечаться особым сигналом; мы висим сейчас на высоте свыше тысячи верст; и идем со скоростью одной версты в секунду...

— Помнишь, Елена, мои объяснения на острове, в эллинге «Победителя», когда я еще все хотел отнимать по рублю?»

— «Помню!» — откликнулась Елена с окна.

— «Так вот мы теперь, наоборот, будем отнимать, а прибавлять скорость, пока наш «Победитель» не разовьет нужные нам десять верст в секунду; но только мальчик в школе может ошибиться при решении задачи; в крайнем случае злостный математик ему влепит кол, каковые я каюсь, получал сам нередко в гимназии; — а если я переведу слишком сильно вот этот рычаг и перейду, например, сра-

зу от одной версты к пяти или же к восьми, то мы с тобой срочно отправимся в лучший мир... Ты помнишь, что произошло несколько минут назад с нами, когда я погорячился и увеличил скорость лишь в полтора раза: еще немного... и мы бы погибли!..

— Да, ошибаться нельзя: нас экзаменует строжайший экзаменатор — смерть!

— Скорость можно лишь очень медленно увеличивать и очень медленно замедлять потом, отнимая понемногу, как в моем примере...

— Итак, моя женка, мы с тобой сейчас — пассажиры, и команда, и капитаны космического междупланетного корабля, граждане маленького самостоятельного небесного тела. У нас тоже есть атмосфера, но только она внутри, а не снаружи, как у земли; и мы не вращаемся вокруг своей оси, что было бы весьма неудобно, — только потому, что этому препятствует специальное устройство нашего реактивного прибора.

Мы не блещем отраженным светом, как луна, но если мы зажжем электричество, то можем сыграть роль маленького солнца, только не греющего...

— И самое главное: мы мчимся, со все увеличивающейся скоростью от земли к луне, и если нас не зацепит по дороге какой-нибудь шальной метеорит или блудящая комета, то мы, несомненно, прибудем к цели, а наша цель — луна.

— Я выбрал ее, как ближайший островок жизни в окружающем пространстве, — как ближайшую к земле космическую станцию.

— Космические расстояния огромны и измеряются миллионами, — сотнями миллионов верст и более... Но расстояние луны от земли, это — сравнительно скромное для астрономических цифр расстояние; если вообразить землю, которая еще поворачивается, все уменьшаясь, вот в этом окне в виде жирной замоскворецкой купчихи и обвязать веревкой, как поясом ее толстое пузо, то длина такой веревки, такого корсажа, обнимающего талию мадам земли, — земной экватор, — будет тридцать шесть тысяч верст;

десять таких кушаков, связанных вместе, свободно уложатся между луной и землей, во время перигелия, то есть в момент наибольшего их приближения друг к другу.

Триста шестьдесят тысяч верст — вот то расстояние, которое отделяет землю от луны и которое теперь пробегает наш «Победитель» — расстояние для астронома небольшое; при нашей скорости это — пустяки. Десять верст в секунду, это — тридцать шесть тысяч верст — в час; ты видишь, — мы могли бы в один час совершить кругосветное путешествие вокруг всего земного шара вдоль экватора.

— Если бы ракета могла развить полный ход сразу, то ровно через десять часов мы были бы на луне; но это невозможно по уже известным тебе причинам.

— На ускорение и замедление уйдет тоже еще около десяти часов; час мы уже провели в ракете; — через двенадцать часов мы должны причалить к кроткой Силене...

— Ну, а пока, Елена, я хочу есть! А так как от земли мы уже отлетели, а до лунных ресторанов еще далеко, то я надеюсь, что моя женка исполнит роль межпланетной хозяйки и покормит меня чем-нибудь на высоте... — он взглянул на хронометр, — двух тысяч верст над самыми высокими земными горами...»

— «Сейчас, милый!» — встрепенулась Елена.

— «Остолоп я безмозглый, — вдруг хлопнул себя Горянский по голове, так что повязка чуть не слетела.

— Эгоисты мы с тобою, женка, — совершенно позабыли про Чемберта, а он ведь там с ума сходит; надо его успокоить и вообще вступить с ним в постоянное сообщение!»

Горянский вытащил из-под дивана переносный телефонный прибор и соединил его через специальный стеновой провод висящей снаружи за бортом «Победителя» антенны.

Почти моментально раздался сигнальный звонок: перепуганный, взволнованный молчанием «Победителя» Чемберт уже закидывал пространство мощными радиоволнами...

— «Видишь, Елена, бедняга Чемберт себе за это время вымотал все нервы и руки отбил на аппарате!» — укоризненно сказал Горянский, берясь за слуховую трубку...

— «Алло! «Победитель»! Отвечайте! «Победитель»! Отвечайте!» — прохрипела трубка в ту же минуту взволнованным нервным голосом Чемберта.

— «Остров! Отвечаю! Горянский! — Успокойтесь, дружище Чемберт, все обстоит благополучно! Двигатель действует превосходно; мы с Еленой здоровы и летим к луне во все лопатки...»

— «Слава богу!» — взволнованно отозвалась трубка.

— «Я набил себе шишку на лбу, и поделом! — продолжал Горянский, — я по-дурацки переставил рычаг почти на целый миллиметр и в полтора раза увеличил скорость.

— Вас на острове, вероятно, тоже здорово потрянуло?

— Что? — Вихрь и молния? — Все стекла перебиты?!

— На землю опрокинуло?! — Пошел дождь?

— Да, я так и думал!

— Благодарите меня! Это все по моей милости... — Что брат мой, Чигринос, не возносит мне благодарственные моления?

— Что? Вы говорите — на луну по его распоряжению? Что же, это меня радует!.. Пусть передаст через вас все свои поручения на луну, — выполню с удовольствием!

— И шлет луне сто поклонов? И это передам с удовольствием!

— Вы говорите — пропал Мукс? — Не может быть! Ну, ничего, найдется! — Просто запропастился где-нибудь... проказливый чертеночек!..

— Что? Обвиняют нас в похищении Мукса? Ты слышишь, Елена? — оторвался Горянский от трубки. — В жертву луне, по распоряжению Чигриноса?..»

Горянский залился неудержимым хохотом вместе с Еленой.

В трубке бился одновременный смех Чемберта.

— «Передайте им, Чемберт, что мы половину его уже зажарили и съели, а другую половину везем на луну в сыром виде... — Нет, кроме шуток, Чемберт, я не понимаю, в чем

дело: в ракете никого нет, кроме нас с Еленой; при том крышка тяжела и должна всегда быть закрыта; мне кажется, он никак не мог залезть туда...

— Впрочем, мы обыщем все наши владения — они невелики, — и сообщим вам!..

— Дружище Чемберт, вы не обижайтесь, но я жрать хочу, как миллиард бегемотов, да и вы ведь, вероятно, с утра тоже ничего не ели!.. — Давайте-ка закусим, вы — на земле, а я на небе, то есть, виноват, в ракете; за нас не беспокойтесь — ракета наша тверда в пространстве, как паперть Исаакиевского собора!..

— Что? Вы хотите говорить с Еленой, — с наслаждением передаю ей трубку... — Только умоляю вас, дорогой друг, не отнимайте ее у меня надолго — желудок мой урчит, как голодный тигр, а она только что обещалась меня покормить». — Горянский передал трубку Елене.

— «Вы — героиня!.. — доносилось из трубки. — Я должен от души извиниться перед вами за то, что вначале испытывал к вам тайное недоброжелательство — я эгоистично боялся, что вы отнимете Горянского у меня и у его великого дела...

— Я вижу теперь, как ошибался: вы не только — жена, вы его соратница... Я преклоняюсь перед вами и завидую вам, несущейся с ним в ракете; вы — подруга гениального человека и вы достойны его. Простите же мое недоверие!..»

— «Вы слишком хвалите меня, Чемберт, — сказала Елена, — вы преувеличиваете мои заслуги...

— Я — не героиня; я просто — маленькая женщина, которая любит, и делаю, что могу... — Не могла же я оставить Володю, когда он решился на этот безумный полет? Я думала, что это невозможно, что это — почти смерть!

— Вижу теперь, что ошибалась... Но, все же ведь не могла я его оставить одного?.. Умирать — так умирать вместе!

— А на вас я не сержусь, Чемберт, я знаю, что вы — хороший и любите Володю, и вам — большое спасибо за заботы о нем и обо мне.

— А теперь вы больше заботьтесь о себе и о своем здоровье: вы и так стали за последнее время такой худой и бледный... Побольше ешьте и обязательно что-нибудь вкусное!..

— Вот я разложу вещи, достану свою поваренную книгу, я ее, кажется, захватила с собой, второпях, и сообщу, вам по телефону рецепт одной необыкновенной яичницы, вроде омлета, а ваш негр вам ее стоговит; хотите, а?

— Не благодарите!.. Не за что...

— Ну, всего хорошего, Чемберт, а то Володя делает мне такую страшную физиономию, и все время указывает мне на свой желудок, и я боюсь, что б он, правда, не умер голодной смертью! Ну, всего хорошего, еще раз!

— Идите-ка и вы завтракать. Часика через два позвоним вам опять».

Елена положила трубку и достала из шкапчика банку с консервами.

— «Володя! Что это? — спросила она с изумлением, — разве консервы вытекли? Но банка целая!.. — В чем дело? Это — двухфунтовая банка... Почему она такая легкая? В ней, по-моему, не больше четверти фунта весу!»

Горянский улыбнулся: — «Разве ты не чувствуешь ничего особенного, когда ходишь по каюте, Елена?»

— «Да, мне как-то особенно легко и приятно здесь, только вначале было немного жарко...

— А теперь совсем хорошо и легко».

— «Попробуй, приподнимись на носках посильнее, как будто ты делаешь балетное па!» — коварно предложил Горянский.

Елена выполнила это и, к своему удивлению, подпрыгнула и стукнулась головой в потолок.

— «Видишь, и ты стала легче; — Елена, смотри! — Горянский чуть оттолкнулся от стены и мгновенно перенесся в противоположный конец каюты, — и я тоже необычайно уменьшился в весе!»

Елена смотрела на него с колоссальным изумлением...

— «Это изменение в весе есть результат уменьшения силы земного притяжения; а оно тем слабее, чем дальше

мы от земли. А мы от нее уже на расстоянии четырех тысяч верст...

— В нашем путешествии будет момент, когда весу совсем не будет. Тогда произойдут любопытные, необычайные явления, которые ты сама увидишь; это будет, между прочим, очень неудобно... Но не бойся: когда мы подлетим к луне, вес снова появится, хотя и в сильно уменьшенной степени.

— Но, ей-богу, будем есть, а то у меня не хватит сил даже произнести себе самому эпитафию!..

— А ты двигайся медленнее и осторожнее и учитывай силу движений, а то обогатишься синяками и шишками, вроде моей, и перебьешь всю посуду!»

Он взял у Елены банку и стал ее открывать консервным ключом, сидя на диване; Елена осторожно прошла в спальное отделение переодеться, — она до сих пор оставалась в мокром платье.

Вдруг оттуда донесся ее взволнованный крик:

— «Володя, иди ко мне! Здесь кто-то есть!»

Горянский оставил банку и, не рассчитав движения, с силой перелетел через всю каюту, за что и поплатился: приобрел новую шишку при столкновении с дверью.

Елена, нагнувшись, стояла рядом с кроватью, из-под которой, действительно, высовывалась черная кудластая голова, могущая принадлежать только Муксу...

Горянский нагнулся и вытащил его за шиворот из-под кровати.

— «Проклятый чертенок!» — пробормотал Горянский, — «так он все таки забрался к нам! Но что же делать с ним на расстоянии шести тысяч верст от земли? Не выбросить же его в безвоздушное пространство?!»

Но нужно было прежде всего привести его в чувство...

Мукс лежал вытянувшись, без движений: очевидно, он был оглушен подъемом в первую минуту так же, как и они с Еленой, но обморок его не прошел до сих пор еще; наружных повреждений на теле не было; Горянский ощупал ему голову, но и там все обстояло благополучно — видно,

солидная шевелюра помогла ему, даже если он и стукнулся основательно головой.

Горянский приложил ухо к груди Мукса — сердце слабо билось... Елена пустила в ход нашатырный спирт, который уже помог сегодня привести в чувство Горянского, и поднесла склянку к самому носу мальчугана. Горянский стал растирать тело Мукса; минуты через две Мукс зашевелился.

— «Ты не говори, Джонни, Чигриносу, что я украл у него перья, я хочу еще стащить!..» — пробормотал он, открывая глаза, и, очевидно, не представляя себе, где он находится. — «Мистрис Елена!.. — закричал он вдруг, увидев ее, — значит мы на острове!.. — Разве мистер Горянский не полетит на луну? — «Победитель» не двигается!..» — протянул он разочарованно.

— «Я-то вот полечу на луну, — сказал Горянский, полусуто, полусерьезно, — а тебя выброшу в окошко, обратно на землю, скверный мальчишка!

— Ты знаешь какой переполох ты наделал на острове? Тебя там ищут еще до сих пор; а рассерженный Чигринос велел принести тебя в жертву луне!»

— «Ах, мистер Горянский! — закричал испуганный Мукс, приподымаясь, — не отдавайте меня на съедение луне! Уж лучше выбросьте меня обратно на землю!»

— «Это мы еще посмотрим, что с тобой делать! — пробормотал Горянский, приподымая его с пола, и кладя на кровать. — А пока лежи-ка ты лучше смирно!..»

— «Ну, что с ним делать? — обратился Горянский к Елене.

— Вот еще новоявленный гражданин новой планеты!..»

— «Теперь ничего не поделаешь, — ответила, смеясь, Елена.

— Пусть летит вместе с нами на луну; был земной, теперь станет лунный хулиганишка», — и она погладила Мукса по волосам.

— «Ну, теперь за еду, Елена, а потом уже сообщим Чемберту о находке. — А то нам так и не удастся сегодня пере-

кусить», — еще раз напомнил Горянский и снова отправился открывать консервы.

Мукс, сразу воспрянувший как только вспомнили о еде, появился в каюте и робко поглядывал на Горянского.

— «Садись, Мукс, и сиди! — подозвала Елена. — И веди себя хорошо. Сейчас будем завтракать».

С большим трудом удалось Елене накрыть маленький столик салфеткой и поставить на него тарелки. При малейшем движении все угрожало слететь.

Как и следовало ожидать, с Муксом произошла катастрофа; ему захотелось поболтать ногами, как он это делал у себя на острове, сидя на пристани; результаты вышли потрясающие: — стул полетел в одну сторону, Мукс — в другую, а скатерть, которую он увлек за собой, со всем содержимым — в третью...

Однако, все окончилось благополучнее, чем можно было ожидать, потому что предметы, находившиеся над скатертью, не упали на пол, не разбились, как следовало бы предположить, а, повиснув в воздухе, медленно скоплялись у стены, обращенной к земле, где их без труда и выловили Горянский с Еленой.

Внушив Муксу подзатыльником уважение к законам Ньютона внутри ракеты, Горянский с остальными продолжал прерванный завтрак.

— «Восемь с воловиной тысяч верст, — сказал Горянский Елене, взглянув на измеритель. — Скоро притяжение земли совсем прекратится и центр нашей ракеты станет для нас центром тяготения; тогда совсем нельзя будет справиться с тарелками; трудно будет есть и пить, и вообще наступит ряд еще больших неудобств.

— Потому ешьте и пейте скорее!» — И он подал им наглядный пример.

Впрочем, проголодавшиеся Елена и Мукс и не нуждались в особенном уговаривании.

Горянский передвинул рычаг двигателя еще на миллиметр и увеличил ход.

Земля в окне утратила свою выпуклую форму и представлялась громадным мерцающим плоским диском. Она

была похожа на сияющий светлый щит; контуры материков нечеткими линиями испещряли его поверхность.

Солнечные лучи, не сдерживаемые никакой атмосферой, проникали сквозь окна внутрь.

Хотя снаружи царствовал страшный холод безвоздушных пространств, внутри ракеты становилось тепло, даже жарко. Ход «Победителя» все усиливался.

Сквозь маленькое окошечко в корме можно было видеть массы газа, выходявшего из реактивной трубы, широко стлавшегося позади «Победителя», как хвост кометы.

— «Мне хочется спать Елена! — Поговори сама с Чембертом насчет Мукса, а я немного вздремну.

— Следи за хронометром и каждые полчаса — не раньше — передвигай рычаг вперед на миллиметр, но смотри — не больше!.. — И он показал ей, как это делать.

— Сумеешь, Елена?»

— «Думаю, что сумею...» — ответила та.

— «Тут еще будут разные фокусы с тяготением, но ты не бойся: это — ерунда!.. Впрочем, если что-нибудь будет нужно, разбуди меня...»

Он вытянулся на диване во весь рост и через минуту заснул...

ГЛАВА VIII.

Через пространство.

Елена сидела возле двигателя и смотрела задумчиво в окно на все уменьшавшийся земной диск...

Уже с час тому назад она переговорила с Чембертом, сообщив о нахождении Мукса в ракете, и Чемберт поздравил Елену с увеличением ракетного народонаселения; он прибавил, что туземцы острова плохо примут это известие, так как это подтвердит их подозрения, что Чигринос отправил Мукса в жертву луне; от этого могли произойти большие неприятности на острове; Чемберт прибавил, что как-нибудь постарается это уладить.

Елена сообщила, что в ракете все благополучно, что она у машины, а Горянский спит.

Чемберт просил его не будить, и разговор закончился. Мукс тоже заснул, прикорнув на соседнем диванчике...

Елена бодрствовала одна в ракете...

Прозвенел негромкий сигнальный звонок хронометра, отмечавший истекший час...

Елена методически передвинула рычаг и снова вернулась к своим мыслям...

Земной диск все таял и таял в окне...

— Что-то ждет их там, на луне, к которой они стремятся?

Внутри ракеты было поразительно тихо; в тишине раздавался лишь мягкий ритмический стук хронометра и сонное дыхание спящих...

На одну секунду Елена с изумительной отчетливостью вообразила себя висящей между двумя мирами в этой маленькой стальной коробке, мчащейся с необозримой скоростью в неведомое; она ощутила на мгновение свою страшную оторванность от городов, от земли, от живых людей... Она вспомнила Париж, явственно увидела Елисей-

ские поля, услышала шум, движение экипажей и говор толпы, подумала, что никогда больше, может быть, этого не увидит и не услышит, представила себе, что она одна, безгранично одна в ужасающем безмолвии пространств, и ей стало страшно; жуть, как в детстве при чтении страшной сказки и рассказа о мертвецах и привидениях, прокрадывалась в мозг, острыми иглами щекотала спину, укалывала тело...

Вот распадаются тонкие хрупкие стены ракеты, и она, Елена, падает в пустоту...

Она видела, как падает ее тело, она судорожно ищет воздух в безвоздушьи...

Невообразимый жестокий холод зажимает сердце... Вот маленьким ледяным комочком несется без конца, будет носиться ее тело в пространстве...

И ее передернуло: — ракета показалась ей гробом, а спящие Горянский и Мукс похожими на трупы...

Да, несомненно, — они обречены, — возврата нет!

Куда и зачем понесло их в пустоту, куда-то на далекую луну?

Ведь это возможно только в детских фантастических романах; кому и зачем это нужно?

Разве плохо простое скромное счастье там, на земле: просто жить, как все, — любить, — иметь детей от него; она представила себе, что у нее — маленький, и лицо ее потеплело...

К чему же эта гордость мыслей, эти взвивы и взлеты, при которых так легко, так неизбежно погибнуть?.. Нужен ли вообще весь наш прогресс, вся цивилизация, вся наша техническая культура, — ведь ракета — лишь звено в цепи изобретений; — прибавят ли они простой человеческой радости хоть на йоту?

Елена взглянула в лицо спящему Горянскому и вдруг почувствовала, что ее сомнения распадаются, как картонный домик...

Она вдруг, как-то сразу, представила себе, что здесь вот, рядом с нею, в этой маленькой железной клетке, затерян-

ной в пустоте, на плюшевом диванчике лежит и дышит живой гений.

Да, это — не только ее Володик, большой, картавящий, ласковый, немного несуразный, который целует и обнимает и с которым так сладко и хорошо во время последних стыдных ласк; это не только — теплое живое тело, к которому истомно ночью прижаться, это еще — гений!..

Да, гений!..

Возможен ли он?

Перед глазами Елены — вереницы безумных, кидающих вызов за вызовом неодолимой стихии:

Первая искра... огонь... первый топор... первый рычаг... приручение животных... пар... первая паровая машина...

Уадс... Стеффенсон... Фультон... Эдиссон...

Пароходы... паровозы... аэропланы...

Рельсы и провода, опутывающие землю...

Гигантские башни и кружевные мосты...

Электричество, радио и все величие, вся мощь современной техники и культуры: библиотеки, музеи, груды картин и статуй, изящные платья, красивая вкусная еда; свет и тепло в жилищах...

Книги... много книг... а в них такие изящные, такие красивые мысли, такие образы, такие песни о любви, от которых жить и радоваться еще слаще...

Театр; создания творческой прихоти, оживающие на сцене, объединяющие толпы в один порыв, в одно великое наслаждение искусством, идеей, ослепительной и острой, возносящей личности, и двигающей массы...

Стройные изящные системы мыслей, похожие на величественные замки...

Гений! Да, — гений!..

Он наполняет вкусом и смаком жизненные игры, он вливает смысл и увлечение в мерцание будней...

Гений и объединенный труд миллионов создали все богатства, всю радость мира!

Гений, — да! — С ним не страшно!.. даже здесь, в этой маленькой ракетке, которая, вскинутая с ослепительной дерзостью, мчится к луне...

Жена гения!..

Великая гордость наполнила сознание Елены; — да, —она жена гения, — не просто женщина, не просто жена, любящая и любимая, как тысячи любящих, рождающих детей и умирающих бесследно, — нет, она подруга творящего, она — соратница титана, и в ее преданности, в ее поцелуях, простых и обычных, как у всех, есть частица высокого творчества...

Ее забота и любовь подвинут человечество в более благородные игры...

Сладко не только любить, как все, но и быть соучастницей игры, изумительной, дерзостной и блестящей!..

Страх исчез из сознания Елены: любовь, надежда, вера в победу и достижения, и упругая мальчишеская бодрость, дерзкая, чуть озорная, — всколыхнули мозг и тело...

Елена с вызовом взглянула на уменьшавшийся в окне земной диск:

— «Погоди... погоди, земля! Мы еще заставим, заставим тебя двигаться по нашей прихоти!..»

Пусть погибнем! — радостно и вкусно мгновение гениального взвива...»

Тихо подошла Елена к Горянскому и осторожно, чтобы не разбудить, и нежно поцеловала его высокий изящный лоб:

— «Спи, милый! — Я, маленькая и слабая, помогу, помогу тебе повернуть колесо мира...»

Она вернулась к рычагу и, теперь радостная и взнесенная, смотрела в окно — с бешеной скоростью мчалась ракета — уже только четыре версты ускорения оставались до полного хода, свыше восьмидесяти тысяч верст отделяло ее от земли...

Плавно стучал хронометр, отсчитывая сигнальные звонки и осторожно передвигала рычаг Елена.

Медленно раскручивалась нить времени...

Елене захотелось пить. Она взяла со стола графинчик — к ее изумлению, вода не выливалась из него.

Елена ударила по доньшку — блестящий радужный клубок выкатился из графина и, красиво поблескивая всеми цветами радуги, повис посередине ракеты.

Елена, ошеломленная, выпустила графин и стакан, и они неподвижно повисли в воздухе.

Она ощутила внезапный толчок: Мукс, очевидно, повернувшись во сне сильнее, чем следовало, налетел на нее, плавно перелетев через всю каюту.

Спустя секунду, Елена наблюдала замечательное зрелище: — черный неспроставшийся негритенок, тараша глаза, висел неподвижно как раз посередине каюты; — от его головы оставалось пол-аршина до потолка и столько же от ног до пола. Графин, стакан и красивый водяной шар висели возле.

Мукс, которому, очевидно, очень хотелось пить, инстинктивно потянулся к воде и стал втягивать ее губами непосредственно из водяного шара, не прибегая к бесполезному графину и стакану.

Это рассмешило Елену и напомнило ей старую сказку, где окорока сами лезут в рот герою.

— «Ешь!» — крикнула она Муксу, опуская в воздух кусок колбасы, лежавший рядом с консервом; колбаса немедленно повисла рядом с водой и графином и через минуту очутилась во рту Мукса.

— «Давайте еще, мистрис!» — воскликнул он, немало не смущаясь необычайностью своего положения.

Елена отправляла ему по воздуху кусочки колбасы, смеясь негромко, и Мукс поглощал их в невероятном количестве, вися в воздухе, сверкая глазами, похлопывая себя по животу и болтая ногами.

Однако, Елена немедленно была наказана за свой смех и неосторожное движение отправило ее прямо к Муксу...

Разбуженный всем происходящим Горянский приподнялся на кушетке и в ту же минуту был рядом с остальными; все трое стукнулись лбами.

Горянский и Елена минут пять хохотали, вися в воздухе и глядя друг на друга и на гримасничающего Мукса, которому, по-видимому, все это ужасно нравилось.

— «Я могу летать, как птица!.. — кричал он. — Мы все сейчас птицы!.. Чигринос будет мне завидовать! Смотрите, мистрис!»

Он уцепился за свисающий с потолка ремень и кувыркнулся. Но возмездие уже преследовало Мукса: он закрутился в воздухе колесом...

Это была любопытнейшая вещь: ни один акробат столичных цирков не мог бы сделать этого.

Вначале это очень одушевляло Мукса: он крутился, как черный чертенок, крича, что он превзошел самого Чигриноса, скаля зубы и размахивая руками и ногами; но после десятиминутного вращения у него закружилась голова и воодушевление его стало падать... Спасительный ремень, от которого он откатился, остался на аршин влево и дотянуться до него Мукс никак не мог.

— «Вот Муксу и наказание, — сказал с улыбкой Горянский, берясь за ремень и притягиваясь к полу. — Оставим его тут вращаться вокруг своей оси, в центре тяготения ракеты — пусть покрутится, как гроб Магомета; сопротивления тут почти нет, — обратился он к Елене, — тяготения тоже; центр его там, где находится сейчас Мукс; он может крутиться так несколько недель, а если выкачать из ракеты воздух, так до второго пришествия!.. — Ну что, нравится тебе там, Мукс?»

— «Ой, мистер, довольно!.. Пусть уж так покрутится Чигринос!..»

— «А ты будешь себя хорошо вести? Не будешь шалить?»

— «Ой, не буду, мистер! Ей богу, не буду!.. — закричал испуганный Мукс. — У меня уж все в глазах и в голове кружится!..»

Горянский, держась за ремни потолка, осторожно подплыл по воздуху к невольному акробату без трапеции и, приостановив движения бедного мученика, увлек его с собой на диван. Все трое сидели теперь рядом на диване, зацепившись ногами за специальные ремни, проложенные посреди пола, а Мукс сверх того упирался в потолок тростью Горянского; как будто бы возможность летать в любую

минуту уже не привлекала его особенно, после невольной эквилибристики, и он удрученно молчал.

— «Нет, не стоит быть птицей! — высказался он, наконец, — у птиц всегда болит голова!..» — В голове у него все еще трещало.

— «Правильно! — согласился Горянский. — Вот, Елена, последние шутки тяготения, новых сюрпризов оно нам преподнести уже не сможет!.. — Но это будет продолжаться до тех пор, пока мы не вступим в сферу притяжения луны, или какого-нибудь другого тела... Сейчас мы, так сказать, сами себе притяжение; наша ракета — самостоятельная планетка; нет ни верха, ни низа; если можно бы было выйти на поверхность ракеты, то мы одинаково бы держались и на верхней, и на боковой, и на нижней ее части, потому что центр тяжести вот здесь!.. — он указал туда, где только что крутился Мукс. — Все тела стремятся к центру тяготения, по законам тяготения, поэтому ни верха, ни низа практически не существует; если я возьму этот стул кверху ножками... — он высвободил стул, прикрепленный, как и остальная мебель, к полу, и перевернул его в воздухе, — и поставлю на его перевернутое сидение этот графин, то он будет на нем стоять точно так же, как он стоял бы в нормальном положении, если стул будет находиться выше центра тяготения... — Смотри!»

Горянский встал посредине каюты, уцепившись за ремни, и, взяв правой рукой стул с поставленным на него графином, медленно и осторожно описал в воздухе большой круг вокруг предполагаемого центра тяготения. Горянский повторил это несколько раз; графин все время спокойно стоял на сидении стула.

— «Если вылить жидкость сейчас, то она тоже соберется в шар и повиснет здесь, возле графина, — это ты, кажется, уже видела...

— В стакан ее налить трудно: слишком слаба сила тяжести...

— Таково тяготение, шутки которого нам сейчас очень неудобны, но на основании его же законов движутся миры и летит теперь наша ракета!.. Законы его гласят: Всякое

тело в пространстве, где нет никакого притяжения, будет двигаться прямолинейно и равномерно по инерции, если вывести их из неподвижности.

— И если бы притяжения не было совершенно, то достаточно было бы просто оттолкнуть ракету от земли в желаемом направлении, и ракета должна была бы долететь до луны по прямой линии; но в том-то и дело, что притяжение существует, и не одно, а фактически очень сложно переплетающиеся притяжения различных небесных тел...

— Для нашей планетной системы самое сильное притяжение это — притяжение солнца... Конечно, во вселенной эта сила ничтожна, и само солнце со всей нашей планетной системой мчится, как былинка, подчиняясь могущественному притяжению какого-то другого, еще более громадного солнца, которое находится где-то возле созвездий Геркулеса и которое в свою очередь движется вокруг какого-то центра, и так без конца...

— Но, как говорится — «сильнее кошки зверя нет...» — и в нашей планетной системе этот самый сильный зверь — солнце.

— Я мог бы сейчас передвинуть рычаг назад и остановить реактивный двигатель, и мы бы не упали, — мы продолжали бы двигаться по инерции, но мы не попали бы на луну; не прошло бы и получаса, как мы были бы втянуты в сферу притяжения солнца, с которым при этих условиях не мог бы сравниться ни один реактивный двигатель, и через мгновение со страшной скоростью, которая возрастала бы обратно пропорционально квадрату расстояния, падали бы на солнце.

Еще не долетев до его огненной и газовой поверхности, ракета на довольно большом от него расстоянии была бы расплавлена и обращена в жидкость и газ от страшного жара.

— И даже пепла не осталось бы от наших разбрызганных тел, чтобы упасть на солнце.

— Вот потому-то нельзя ни на минуту приостановить двигатель. Мы летим к луне по изогнутой кривой линии, так как, только что выравшись из притяжения земли, преж-

де чем попасть в сферу лунного притяжения, мы должны сделать самостоятельное и сильное движение, чтобы преодолеть притяжение солнца...

— Если же только солнце затахнет нас, как насос, — мы погибли!

— Но довольно объяснений и разговоров, давайте обедать!»

Они закусили тут же на диване консервами и колбасой, причем Муксу нравилось выливать горячее какао из специальных жестянок, где оно сохранялось горячим, в воздух; какао собиралось в светло-коричневый клубок и Мукс, поигравши с ним предварительно, втягивал его. Таким образом, он без труда очистил четыре банки. К этому же способу прибег и Горянский, потому что, таким образом, слишком горячее какао сразу остывало.

Елена предпочитала более нормальный способ и, терпеливо дождавшись, пока остынет, пила из жестянки.

— «Теперь ты можешь спать, мы с Муксом будем дежурить», — и Горянский, поцеловав Елену, проводил ее в спальное отделение и показал, как нужно пристегиваться к ремням, чтобы при малейшем движении не взлететь а воздух.

Затем Горянский вернулся к двигателю.

Взгляд на хронометр показал, что наступал уже девятый час их полета; около ста тысяч верст отлетели они от земной поверхности и еще двести шестьдесят тысяч верст отделяло ракету от луны...

Звонок, отмечающий время; — Горянский передвинул рычаг на последний миллиметр.

Теперь двигатель работал полным ходом и ракета мчалась со скоростью десяти верст в секунду, или триста шестьдесят верст в час.

Шесть часов полета с такой быстротой и пять часов замедления — и они будут на луне.

Горянский взглянул в заднее окно; диск земли, уменьшавшийся с каждой минутой, был сейчас очень похож на луну.

Зато луна в переднем окне становилась все больше и больше и своим большим желтым телом занимала почти все окно.

Горянский задумался, разглядывая выступавшие на желтом диске резкие очертания контуров поверхности.

— Что то ждет их там, на этой спутнице земли, к которой летят они сейчас, очертя голову?

— Есть ли там живые существа, подобные человеку, и если — да, то как они их примут: враждебно или дружески?..

— Они должны были начать свою культуру раньше, чем мы; может быть, мы покажемся им дикарями, полужверями, не достигшими того уровня, чтобы стоило с нами считаться, и они поступят с нами, как с дикими животными?

— Или, может, примут любезно представителей земли?

— Тогда мы обогатимся от них сведениями о еще неизвестных нам открытиях и изобретениях; может быть, они сообщат нам сведения, которые опрокинут все наши установившиеся понятия и создадут начало новой эры для человечества, если мы сумеем донести эти сведения до земли.

— Может, там решили все волновавшие нас вопросы? Может, там мы найдем на них ответ?

— Может, там племя силачей и титанов, ведь на луне сила тяготения меньше, чем на земле, и это должно благоприятствовать росту, — победило природу и окончательно одолело стихию?

— Может, там техника настолько превосходит земную, насколько наши европейские инженеры уменьем строить превосходят готтентотов или зулусов?

— Может, живые существа пропорциональны массе планеты, и тогда племя мудрых карликов повелевает там помощью изумительных гениальных машин?

— Или, может, там погибли давно остатки давней культуры, умершей в непосильной борьбе с охлаждением планеты и только жалкие остатки одичалых племен ютятся в лунных пещерах?..

— Есть ли там жизнь на поверхности или, может быть, она ушла внутрь, где еще используются вулканические силы, где еще сохранились остатки теплоты?

— Есть ли там воздух, без которого немислима жизнь подобных нам существ? — Или, может, там ничего нет, даже моллюсков и насекомых, даже бактерий? — Может быть, последние остатки жизни погибли на охлажденной планете? Может быть, никакая жизнь там невозможна? Может, вместо атмосферы, серная кислота ровным слоем заливаает поверхность планеты, как утверждает Аррениус? Может, луна — только труп, холодный и безнадежный? Может, ее улыбка — улыбка мертвеца, страшное *memento mori* скалящего зубы черепа?

— Может, стоит она, как громадный гроб, как висящее в пустоте кладбище, чтобы быть предостережением для смельчаков, которые пожелают вырваться из узких и цепких объятий земли на простор Вселенной?

— Может быть, к другим планетам, более далеким, но более живым — к Марсу, к Юпитеру и к Венере — следовало ему направить ракету?..

Но как бы то ни было, а жутко и интересно, интересно до боли, что скажет эта первая космическая станция, самая близкая к земле — крошечный островок в океане Вселенной!

Горянский пристально глядел на все ясней очерчивающиеся линии громадной лунной тарелки и думал, что скоро раскроются и будут ясно видны таинственные лунные ландшафты...

Земной диск, между тем, уменьшился больше чем втрое и в сплошное и ровное слились линии его поверхности; ракета мчалась; она прошла уже больше половины пути и была от земли на расстоянии двести тысяч верст.

Два раза уже говорил Горянский с островом по радио и каждый раз приятно и немного странно было слышать голос Чемберта, дружественный и деловитый, явственно доносившийся из неизмеримых пространств.

И странно было Горянскому, и казалось ему, что это какая-то игра, как в детстве, когда он был еще мальчиком, в гимназии, — и казалось, что дурачит его Чемберт и прячется здесь в ракете и сейчас выйдет и засмеется.

И опять вспомнилось Горянскому раннее детство, как просыпается он утром в деревне с зарею рано-рано, при первом утреннем возгласе петуха.

И, кажется, явственно слышит он петушиный крик...

— «Ку-ка-ре-ку!» — раздалось в ракете.

— Что это? — Слуховая галлюцинация?

Крик повторился.

Или проделка Мукса?

Горянский оглянулся: Мукс спал, пристегнувшись ремнями, на диване, где спал перед этим сам Горянский.

— Что же это?

Крик петуха на расстоянии двести тысяч верст от земли, перед лунным диском, в стальной ракете...

— Да, черт возьми! — Непростительная забывчивость! — Не сам ли Горянский велел Джонни поставить в кладовую ракеты корзину с двумя курицами и петухом и после совершенно забыл о них. Удивительно только, как они не умерли? И как они до сих пор молчали?!

Горянский оторвался от набухающего лунного диска и прошел в кладовую; одна курица лежала неподвижно, по всей вероятности, мертвая, но вторая курица и петух были живы; они, очевидно, только сейчас очнулись от столбняка, в который впали во время толчка при отправлении...

Курица сидела, нахолившись, но петух ходил как ни в чем не бывало, оправляя примятый от толчка гребешок, и время от времени громогласно кукарекая.

— «От них может произойти целое поколение лунных кур и петухов» — подумал, улыбаясь, Горянский и, оставив воскресшего шантеклера с подругой, вернулся к двигателю.

Уж громадным становился лунный диск в окне, уж выпукло начинала выступать его середина.

Двести сорок тысяч верст от земли указывал измеритель. Пора было начинать замедление скорости, нужно было постепенно тормозить ракету.

Горянский приготовил к действию второй реактивный двигатель для контр-взрывов, в передней части ракеты, делавшей ее подобной космическому трамваю с двумя моторами — передним и задним; он был пока еще не нужен — ракета не вступила еще в сферу притяжения луны, но Горянский хотел приготовить все заранее.

Он посмотрел на спавшего Мукса, кинул мимолетный взгляд на маленькую землю в боковом окне и передвинул рычаг назад на миллиметр.

Луна в переднем окне сделалась уже совсем выпуклой; начинал вырисовываться рельеф поверхности...

Вдруг, между луной и окном бесшумно пролетели два маленьких небесных тела, очевидно, метеориты, и на мгновение ее поверхность была заслонена третьим громадным массивным болидом...

Горянский вздрогнул; — вот та опасность, которую нельзя предвидеть: переведи он главный рычаг назад на сотую долю секунды позже, задержи он на йоту замедление хода, — и ракета разлетелась бы перед самой луной вдребезги, на тысячу осколков!.. — И он, и спящая Елена, и Мукс обратились бы в ничто!.. Он вспомнил про мойру — судьбу — неотвратимый фатум древних — и подумал, что до сих пор еще случайность играет неизмеримую роль в жизни человека.

— «Динь-динь-динь...» — зазвенел телефонный звонок.

— «Алло! Горянский!» — звал Чемберт.

— «Здесь, дружище, — отозвался тот, — под самым носом у луны, то есть — нет, перед самыми лунными губами!..»

— Сейчас чуть-чуть на метеор не наскочили: промелькнул, как ошпаренный, перед самыми окнами «Победителя»!.. — Что, — завидуете, что я подвергаюсь опасности, в то время как вы сидите на острове?

— Не завидуйте, дорогой мой, ничего нет хорошего! Признаться, я основательно струсил, когда этот нахальный небесный верзила проскочил у нас под самым носом...

— Что? Остальные?

— Елена спит... И Мукс тоже спит... Видали бы вы, как этот Мукс освоился у нас в ракете!.. Уморительная картина!.. Вы знаете, кажется, я перестаю жалеть, что он к нам залез: с ним весело и потом он развлекает Елену.

— Вы не знаете, как успокоить соплеменников Чигриноса по поводу полета Мукса на луну?

— Ерунда!..

— Скажите им, что мы вернем его в целостности и сохранности!

— Скажите, что они нарекаются отныне все священным племенем луны и что луна отныне благосклонна к ним!..

— Что? Вы опасаетесь за наше золото? Ха-ха-ха...

— Уж не боитесь ли вы ограбления? Кто же будет вас грабить на нашем острове?

— Уж не Чигринос ли?

— Совершенно невозможно!..»

— «Не смейтесь, Горянский! — отвечал озабоченный голос Чемберта. — Меня почему-то все время гложет... Я сам себя не узнаю, начинаю нервничать...»

— Я буду гораздо спокойнее, когда отправлю «Марию» с золотом в Европу... Держать его здесь мне неприятно... Да и настроение туземцев, в связи со всей историей, мне совсем не нравится...»

— «Возьмите себя в руки, Чемберт, и успокойтесь...

— Пустяки все это, если даже допустить, что вас ограбят, чего я совершенно не допускаю, то это совсем неважно: в вашем распоряжении радиы и мои формулы, и вы можете наделать снова золота, сколько угодно!

— Мы подлетели к луне, Чемберт!

— Вы не сердитесь: я хочу запечатлеть на фотографической пластинке вид из ракеты на лунные ландшафты, так что пока до свиданья!.. Теперь буду звонить вам с луны».

Горянский положил трубку. Он достал из чемодана усовершенствованный кодак последнего выпуска и установил его перед окном; вид, действительно, стоило сфотографи-

ровать: — на огромной выпуклости лунного полушария красиво выделялись горные цепи и кряжи.

Лунные горы, превосходящие по высоте земные, выделялись острыми коническими формами.

Горянский снимал одну фотографию за другой. Никакие земные карты луны не могли, конечно, сравниться с этими снимками. Время шло — ракета приближалась...

Уже было заметно вращение колоссальной выпуклости. Кряжи и цепи на лунном экваторе двигались слева направо...

Горянский взглянул на измеритель: — триста семьдесят тысяч верст от земли; — оставалось только пятьдесят тысяч верст; — пора было тормозить двигатель. Горянский подскочил к нему и передвинув рычаг назад до отказа.

Двигатель остановился. Теперь ракета лишь по инерции стремилась к лунной поверхности... Вращение колоссального лунного шара делалось все заметнее.

— «Елена! Мукс! Вставайте! — бросился Горянский будить их.

— Мы подлетаем к луне!»

Но Мукс, проснувшийся еще раньше его возгласа, уже прилип к окну.

— «Это — земля, мистер Горянский, — кричал он, — мы прилетели обратно! — Только какая она старая, сморщенная, желтая и нехорошая, — как лимон!.. Она состарилась, пока нас не было.

— Какая же это луна? У луны должны быть рот, нос и уши. Она должна скалить зубы — вот так!..

— А это — земля, только мы прилетели к ней с другого края!

— Мистер Горянский, мы опустимся прямо на гору, не правда ли?»

Через минуту Елена прильнула к окну рядом с Муксом.

— Так вот она эта планетная гавань, в которую они должны сейчас причалить! — Она не так уж необыкновенна, Мукс отчасти прав: — она напоминала Елене не землю, правда, но те земные карты луны, которые ей приходилось видеть; лунные пики, кряжи и горные цепи пересекались

по всем направлениям. Вулканический характер поверхности сразу бросался в глаза. Рука времени и космических сил избородила и исцарапала ссохшееся лунное тело.

Только двенадцать верст оставалось до луны. Ракета уже начинала вступать в сферу лунного притяжения. Еле заметное возвращалось тяготение: стакан, выпущенный из рук, уже не висел неподвижно, а медленно плыл к переднему окну.

Пора было приводить в движение передний двигатель; Горянский подвинул на полмиллиметра второй рычаг; широкая струя газа застлала половину окна — начиналось реактивное торможение ракеты.

Задний двигатель не работал уже почти час, и ракета двигалась лишь по инерции, а теперь — просто падала на луну, постепенно замедляя противодействием второго двигателя силу падения.

Восемь... шесть... пять... четыре... тысяча!..

Сила тяжести начинала чувствоваться...

Взяв банку со стола, Елена с удивлением почувствовала ощущение веса, от которого она уже успела отвыкнуть; тарелка, которую она по старой привычке спокойно выпустила из рук, наклонно упала на пол в направлении передней стенки каюты и разбилась.

В ногах и во всем теле ощущался слабый зуд...

Чувствовалась легкая, еле уловимая тошнота, как на аэроплане, при переходе к планированию.

Но передвигаться внутри ракеты сделалось гораздо легче, можно было определенно ступить на пол, не цепляясь за ремни, без опасения взлететь в воздух.

Тысяча... пятьсот верст... четыреста пятьдесят... — ракета падала на луну, но реактивный двигатель действовал.

Все шире и шире врывалась газовая струя спереди — падение явственно замедлялось.

Четыреста... триста... двести пятьдесят... двести... ракета уже не падала, а быстро опускалась к лунным кряжам.

Шар луны красиво вращался перед Еленой, Горянским и Муксом, холодный и темный, без пятен леса, без сверкающих океанов, без блистающих ледников, сухой, мрач-

ный, гористый и пустынный....

Как встретят там жителей земли?

Может, уже сбегаются толпы лунных обывателей, чтобы посмотреть на опускающуюся, как громадный болид, ракету?!

Семьдесят пять верст... пятьдесят... тридцать...

Очевидно, там нет атмосферы — слишком отчетливо и точно можно разглядеть малейшую подробность: и цвет поверхности, серовато-желтый, и никого: — ни одной двигающейся точки, которую можно было бы принять за живое существо; только громадные коричневые скалы пирамидальной формы вместе с поверхностью проплывают вправо...

Горянский лихорадочно фотографирует ландшафт за ландшафтом...

Двадцать пять... пятнадцать... десять... восемь... пять... три... верста!..

«Победитель» почти приостанавливает спуск и висит над иссеро-желтой равниной, как дирижабль; только равнина как будто подымается к нему.

Все уже и уже становится круг горизонта...

Вот громадная вершина острого черного пика виднеется почти вплотную с окном «Победителя»...

Четко выделяются громадные бурые трещины...

Влево раскидывается огромный лунный кратер, злоеущий и жуткий, — в него вглядываются путешественники в надежде увидеть кого-нибудь...

Никого!.. Гигантское черное отверстие уходит во мрак, может быть до самого центра луны... Там — бездна...

Под «Победителем», совсем близко, в нескольких саженьях виднеется ровное пространство с сохшейся зеленовато-серой почвой...

Никого!..

Горянский возбужденно передвигает рычаг на последние полмиллиметра... толчок... еще толчок!..

Упруто содрогаются пол и стенки ракеты...

«Победитель» благополучно опускается у подножия гигантского пика...

Они — на луне...

ГЛАВА IX.

Луна.

Горянский судорожно бросается к телефону.

— «Алло! Земля! Чемберт! — лихорадочно вызывает он. — «Победитель» причалил!.. Мы уже на луне!»

— «Поздравляю!—доносится серьезный задумчивый голос Чемберта, — теперь я могу сообщить вам одну вещь, которая вас ошеломит. Сколько времени пробыли вы в ракете?»

— «Девятнадцать часов сорок три минуты семнадцать одна сотая секунды», — отвечает Горянский, взглянув на хронометр.

— «А вы знаете, какое число сейчас на острове? Пятнадцатое ноября восемнадцатого года!»

— Я не хотел сообщать вам до сих пор, так как все время получал от вас известия по радио, знал, что все обстоит благополучно и хотел приготовить вам маленький сюрприз к вашему прибытию; — я решил, что сообщу вам об этом не раньше, чем вы будете на луне.

— Земные хронометры сделали за это время более девяносто суточных оборотов...

— Три месяца один день и полчаса прошли с момента отправления ракеты до этого нашего разговора с вами!

— Зеленые ростки пшеницы, едва зеленевшиеся при вас, уже сжаты и дали обильный урожай...

— Признаюсь вам, я с большим трудом удерживался до сих пор, чтобы не сообщить вам об этом...

— Все вы помолодели ровно на три месяца... Я только начинаю неопределенно догадываться, почему это произошло».

— «Не может быть! — воскликнул ошеломленно Горянский. — Так значит Эйнштейн прав! Наш полет — наглядная демонстрация принципа относительности!..»

— «Елена, — обратился он к жене, — ты подумай только: этот ужасный Чемберт злобно скрывал от нас все время, что мы скрали у Хроноса три месяца один день и полчаса!.. Это, впрочем, так и должно было быть: время, по прекрасному выражению нашего Лобачевского, который является одним из предшественников Эйнштейна, — есть лишь движение для измерения других движений; оно всегда относительно; нет абсолютного времени, одинакового для всех; оно зависит от скорости: чем быстрее движение, тем медленнее время; мы бешено мчались через пространство, и три земных месяца растаяли в двадцать часов...

— Но любопытнее всего, что мы на самом деле психологически и физически пережили именно только двадцать часов и разница эта не только на хронометре; — щеки мои гладки, ты видишь? А я брился перед отправлением на острове; на земле, ты можешь себе представить, какая-бы выросла щетина за три месяца?»

— «Да, — изумилась Елена, — мы действительно ели только два раза и я спала только раз!

— Совсем не верится, что могло пройти целых три месяца».

— Да это только на земле, — успокоил ее Горянский, — для нас прошло двадцать часов!..

— Если бы ты была не в ракете, а в фантастическом ядре французского физика Ланжевена, ученика Эйнштейна, и мчалась со скоростью двести пятьдесят тысяч верст в секунду, перед которой наша скорость лишь жалкая пародия, то для тебя прошло бы лишь два года, в то время как на земле прошло бы двести лет.

— Ты бы вернулась на землю молодой и встретила бы новую эпоху и своих поседелых внуков и их взрослых детей, а какой-нибудь из них смело мог бы признаться тебе в любви, невзирая на твой двухсотлетний возраст... То, что произошло с нами, лишь пустяковый эпизод в сравнении с этим!..

— Но какой злодей этот Чемберт, что до сих пор ухитрился скрывать от нас это!

— Выражается вам искреннее порицание от лица всего ракетного населения, — прокричал он Чемберту, — за низкое

укрывательство нашего страшнейшего врага — времени. Французы гордятся тем, что они убивают время, мы выполнили это буквально и уничтожили целых три месяца. — А вы скрываете от нас нашу победу, разбойник! Даже Мукс возмущен вашим поведением!..»

— «Я сообщу вам еще одну новость, — сказал Чемберт, — которая вас обрадует до глубины души: помните вы поэтическую Парижскую Коммуну, которой вы так восхищались и которая погибла под штыками разъяренных версальцев; она воскресла в России!

— Вчера мы поймали сообщение о том, что двадцать пятого октября либерально-буржуазное правительство Керенского свергнуто. — Ах, да!.. — Вы ведь не знаете, что так называлось коалиционное правительство, образовавшееся в России вслед за Государственной Думой, правившей первое время после свержения Николая...

— И рабочие захватили власть, провозгласив Советы Рабочих и Солдатских Депутатов... — Во главе движения стоит Ленин...

— Провозглашена диктатура пролетариата...

— Парижская Коммуна, кажется, действительно воскресает в России, в грандиозном масштабе... Буржуазия мира испугана... — Что-то действительно небывалое в социологии и истории возникает в вашей России!..»

— «Спасибо, Чемберт! — Я рад, что первое известие о русской коммуне я получаю одновременно с прибытием на луну... Спасибо, дружище!..

— Это счастливое предзнаменование!

— Да здравствует пролетарская революция!

— Да здравствует русская коммуна!

— Да здравствует победа рабочих!

— Да здравствует победа на земле и в космосе!

— Я так счастлив, я так доволен сейчас, Чемберт!

Исполнились все мои заветные мечты: — я достиг луны; — я люблю и любим; — в мире воскресла попранная Парижская Коммуна!

— Если мне даже суждено умереть через минуту, все равно — я счастлив!..»

— «Не говорите о смерти, Горянский, — снова донесся задумчивый голос Чемберта, — «вы молоды, вы еще только у начала победы...

— Исследуйте планету, на которой находитесь и возвращайтесь скорей обратно — лишь тогда ваша задача будет закончена.

— Кстати, — добавил Чемберт шутливо, — одна из жен Чигриноса предсказывала вам удачу...

— По ее мнению, богиня Луна к вам расположена...

— Пророчества этой вещуньи по моему адресу были гораздо хуже...

— А у меня все в порядке, — продолжал Чемберт уже серьезно, — по первому вашему требованию, я готов кинуть к вам на луну грандиозные запасы земной энергии, если понадобится!»

— «Прекрасно, Чемберт! — Итак, я вешаю трубку. — Как ни приятно разговаривать с вами, но меня манит лежащая за окном поверхность луны; мне не терпится ступить на лунную почву... Сейчас мы выйдем из ракеты!»

Горянский снял три больших неуклюжих, похожих на водолазные, предохранительных костюма с крючков, на которых они висели, и перенес их в столовую.

— «Твое счастье, Мукс, — сказал он, приводя в порядок составные части костюмов, — что мы захватили с собой лишнюю предохранительную одежду, а то сидеть бы тебе в ракете до скончания века!..

— Следовало бы тебя продержать здесь, чтобы ты отучился совать свой черный толстый нос в чужие дела!»

— «О, мистер Горянский, — взмолился Мукс, — не оставьте меня здесь!.. Я тоже хочу на луну!..»

— «В этих костюмах, Елена, — сказал Горянский, — мы попробуем рискнуть выйти из ракеты.

— Здесь, по всей вероятности, нет атмосферы, судя по тому, что все выделяется с такой отчетливостью... — Впрочем, если б она даже и оказалась, то не менее опасными, чем ее отсутствие, могут быть лунные бактерии! Вообще мы не можем даже себе представить тех опасностей, которые нас ожидают...

— Примем на всякий случай возможные предосторожности: мы возьмем с собой запас нашего земного воздуха; он будет у нас за спиной, сжатый в металлических баллонах, как у водолазов; эта непроницаемая ткань изолирует наше тело от неизвестной нам среды, в которую мы войдем; если не будет воздуха, не будет и звука, поэтому возьмем на всякий случай с собой радио-телефон, чтоб не разыгрывать глухонемых; при встрече с лунными чудовищами, если таковые окажутся, нас предохранят вот эти электрические ружья; я тебе уже говорил о них, Елена... Выбрасываемого ими разряда достаточно, чтобы уничтожить даже ихтиозавра... Итак, мы вооружены и снаряжены, насколько возможно, земными средствами. Остальное предоставим нашей смелости и судьбе... Во всяком случае, мы выйдем и посмотрим поближе луну. Не правда ли!» —

— «Да, да!» — отозвались Елена и Мукс одновременно.

— «Было бы очень глупо улететь обратно, не посмотрев ее!» — воскликнула Елена.

— «И это было бы непростительной трусостью», — добавил Горянский.

— «Итак — в путь! Но мы возьмем с собой также и этих двух спутников, — он приподнял клетку с петухом и курицей. — Впрочем, я думаю, что в первый раз нам довольно будет и одного шантеклера... — заметил, он вынимая петуха из клетки и пересаживая его в непроницаемый металлический футляр, где тоже был приготовлен небольшой резервуар с сжатым воздухом: — «Вперед, дети земли». — «Allons enfants de la terre!..» — воскликнул Горянский шутливо, застегивая на спине Мукса последние пуговицы предохранительного костюма.

Затем он подошел к Елене, которая, ни слова не говоря, крепко и просто его поцеловала.

Когда все были готовы, он дал каждому в руку по электрическому ружью и показал, как нажимать его кнопку, проверил у каждого крепко ли держится баллон с воздухом и соединенная с ним маленькая антенна радио-телефона.

Затем Горянский захватил футляр с петухом, взял большой, но сильный электрический фонарик и отошел к

правой стене каюты; выходить через верхнее отверстие было рискованно: если бы на луне не оказалось атмосферы, то весь воздух моментально вылетел бы из ракеты.

Горянский нажал скрытый в стене рычажок; завертелась по винтовому нарезу и через минуту широко распахнулась металлическая дверца, открывая вход в небольшой четырехугольный коридорчик, похожий на миниатюрную переднюю бокового выступа ракеты...

Все вошли туда, причем Горянский захватил еще огромный красный флаг для сигналов.

Коридорчик был так мал, что они с трудом в нем разместились.

Горянский нажал внутренний рычажок — дверь завертелась обратно по винтовому ходу и через минуту бесшумно и плотно захлопнулась; доступ в кабину был прегражден.

Горянский показал жестом, чтобы все повернулись к ней спиной. Еле заметное нажатие боковой кнопки — дверь на луну раскрылась широко. Первым ступил Горянский на почву завоеванной планеты. Он чувствовал себя лунным Колумбом.

Поворот небольшого кольца в борту ракеты — раскрытая дверь захлопнулась. «Победитель», гладкий и неуязвимый, лежал, как большая темная рыба...

Горянский чиркнул спичкой из заранее приготовленной коробки с русской надписью «Ираида Лапшина» (по иронии случая эта коробка с ним попала на луну), но бесполезно — спичка не загорелась... Еще и еще — он истратил более десяти спичек — беспечно; с таким же успехом он мог бы применить любую щепку.

Несомненно, воздуха не было; предосторожности, принятые ими, были как раз кстати.

Горянский сказал по телефону Елене, чтоб она помогла ему развернуть флаг, и через минуту они с Муксом, забравшись по маленькой лестнице на верхнюю площадку, водрузили громадный красный флаг над ракетой.

— «Мне необычайно хорошо и легко», — телефонировала Елена, — «я, как птица: я чувствую себя наполовину легче...»

— «Это оттого, что сила тяготения здесь намного меньше, чем на земле», — ответил Горянский, — «мы собственно напрасно подымались по лестнице на площадку...» — Он слегка подпрыгнул и через минуту опять стоял у красного флага.

Мукс немедленно последовал его примеру, но, не рассчитав движения, перепрыгнул через ракету...

Елена тоже легко подпрыгнула, несильно оттолкнувшись от поверхности на площадку, и встала рядом с Горянским у флага.

— «Как хорошо на луне! Мы уже почти стали птицами!» — телефонировала она мужу.

— «Посмотрим, что будет дальше!» — отвечал он.

Красный свет на поверхности начинал слабеть...

Атмосферы, создающей розовую поэму зари, порождающей мягкие земные сумерки, не было; резко и грубо, без полутонов, почти без перехода, наступала ночь.

Видно было, как по всему горизонту явственно надвигалась черная полоса мрака, медленно наползая, — как перед ней отступал красноватый свет.

Резко и четко выделялась черта, отделявшая их друг от друга. Полутеней не было.

Через минуту черная черта прошла над «Победителем»... Везде была ночь.

Небо черное, как чернила. испещрилось красноватыми угольками звезд. — Грубо, красно и четко горели они и не серебрились и не мерцали бриллиантово, как над островом, покинутым ракетой...

Над горизонтом всходила земля. Диск ее, красноватый и светящийся, напоминал луну, но был раза в три больше земной луны.

Она, как огромный аляповатый фонарь, сильно освещала, теперь черную, испещренную трещинами, поверхность.

Она всходила все выше и выше, как ночное, лунное солнце, и снова медленно, черной плотной стеной отползал мрак... Горянский решил пойти навстречу земле, приходившей им на помощь: он повернул выключатель и два

могучих радиоактивных прожектора «Победителя» брызнули ослепительные, мощные разливы света...

Но свет этот не был белым и серебристым, как на земле, — красный и немного зловещий, тянулся он гигантскою полосою до самого горизонта, сливаясь со светом земли. «Победитель» сам стал маленьким солнцем.

— «Вот — дорога победы! — воскликнул Горянский, указывая на полосу света с «Победителя», раздвинувшую по обе стороны темь. — Идем!»

— «Да!» — ответила Елена твердо.

Они, спрыгнув с площадки, медленно и осторожно пошли вперед, держась в полосе света с «Победителя».

Горянский зажег электрический фонарик и освещал каждую пядь поверхности: он боялся, чтобы как-нибудь не упасть в одну из ращелин.

Вот путешественники подошли к гигантскому кратеру; — необозримый, еще более черный, чем черный мрак, он казался страшным; — Горянский остановился... Но потом он все-таки решил исследовать.

Осторожно приблизясь, он осветил фонариком край кратера; край этот не везде был отвесен; слева виднелись три отлогих ращелины, по которым можно было спускаться... Горянский наклонился над кратером; на мгновение ему показалось, что он слышит шум...

— «Елена, ты слышишь?» — телефонировал Горянский.

— «Нет», — отвечали Елена и уцепившийся за нее Мукс, тоже наклонившиеся над краем.

— «Здесь тихо и страшно, мистер Горянский... Там при- таился, наверное, лунный дракон! Не будем идти туда!»

Но они все-таки стали спускаться.

Горянский по-прежнему шел впереди, сжимая в правой руке электрическое ружье, а левой освещая кратер фонариком. Спуск неожиданно становился более отлогим.

Минут пять они шли, почти не опускаясь, по сравнительно ровной дороге. Кто-то тронул Горянского за плечо: — «Володя, — услышал он в телефон взволнованный голос Елены, — смотри, Володя!» — она показала рукой вправо

— Горянский взглянул: там виднелись одна за другой грандиозные каменные ступени.

Подошли ближе.

Как раз там, где кончался отлогий спуск, массивно вырисовывались эти ступени, влево, где только что шел Горянский с Еленой, и Муксом. Горянский приподнял фонарик выше — виднелся ровный отвесистый край, уходивший в темную пустоту, которую не мог осветить даже электрический свет... Не обрати Елена внимания на ступени — кто-нибудь из компании провалился бы туда!..

Горянский внимательно изучал эти широкие мощные ступени, уходившие без конца вниз и вверх; очевидно, это была лестница в кратер, восходившая, вероятно, до поверхности; — и думал, что, несомненно, только разумные существа могли обтесать и высечь эти каменные плиты.

Более полутора аршин отделяло одну ступень от другой; какие ноги каких гигантов спускались по этой лестнице? И есть ли они сейчас на луне?

Что это? — Спуск в лунные рудники или шахты? Памятник жизни, давно погибшей, или существующей и сейчас?

Еще осторожнее, еще крепче сжимая ружье, стал Горянский спускаться по ступеням. Елена и Мукс последовали за ним. Минут двадцать они прыгали со ступеньки на ступеньку... При условиях облегченного тяготения это не было трудно.

После каждых десяти ступеней следовала площадка. Вот уже девять таких площадок... Дальше виднелась плоская облицованная стена, плотно прижимавшаяся к краям кратера.

Слева площадки был отвесный, ничем не прикрытый край, уходивший вниз.

Вправо шла дорога, ровно и гладко вымощенная темно-зелеными плитами, имевшими форму гигантских ромбов.

Горянский неожиданно поскользнулся на одной из них и с силой упал навзничь; футляр с петухом, висевший у него на плече, сорвался и с грохотом ударился о плиту; крышка футляра сломалась.

Горянский, вскочив, кинулся к футляру, думая, что петух издох, — петух стоял на одной ноге, отодвигая голову от электрического света фонарика, и лениво трепыхал крыльями; — он не был мертв...

Вне себя от любопытства, Горянский лихорадочно вытаскивал коробку «Ираида Лапшина» и чиркнул спичкой—спичка горела... Здесь был воздух!..

Через минуту слабое «ку-ка-ре-ку!» донеслось сквозь шлем до Горянского: земной петух приветствовал лунное подземелье...

Елена и Мукс подошли тоже и все трое внимательно смотрели на петуха минут десять...

Горянский пристально изучал его...

Вдруг петух неожиданно оживился и с кукареканьем, слабо долетевшим до уха присутствующих, выскочил из футляра.

Его прыжки и удары крыльев, которые на земле не могли поднять его выше двух аршин, здесь, благодаря ослабевшему тяготению, создавали впечатление полета; если бы не веревочка, привязывающая его за ножку к футляру, то он, может быть, на самом деле бы улетел.

Горянского больше всего поразило то, что вид петуха был гораздо здоровее и бодрее, чем в ракете: петух расхаживал, прыгал и кукарекал, с каждой минутой, очевидно, чувствуя себя все лучше!..

Горянского заинтересовала какая-то особая живость его движений и он, взяв его за ножки, приблизил к себе; глаза петуха необычайно блестели; он вырвался и изо всех сил клевал каску Горянского.

Тот, чрезвычайно заинтересованный, слабо понимал, в чем дело; он сжег более десяти спичек; — все они вспыхивали моментально, горели быстро, — хотя, по внешним признакам, не было ветра, — и необычайно ярко.

Из осторожности Горянский еще полчаса наблюдал за петухом; когда по прошествии этого времени петух все еще по-прежнему бегал, чувствуя себя, по всей видимости, прекрасно, Горянский начал действовать: — он нажимом кнопки надвинул на рот и нос специальный предохранитель-

ный клапан, вроде противогаса, и приоткрыл нижнюю часть шлема...

— Прекрасный, свежий, живительный воздух, неизмеримо более приятный, чем тот, которым дышал до сих пор Горянский, ворвался ему в легкие... Горянский вздохнул полной грудью и почувствовал, как сильнее забилося его сердце, как крепче напряглись мускулы, как острее заработал мозг; и понял причину оживления петуха...

Это был озон!..

Через минуту Горянский отвинчивал свой шлем и то же делали остальные.

Минут пять все трое не говорили друг другу ни слова, — только жадно с широко раскрытыми ртами, как лакомство, пожирали воздух...

— «Это так вкусно, что я съем весь воздух, а заодно и луну!.. Это вкуснее пирожного!» — сказал, наконец, Мукс.

— «Да, — согласилась Елена, — ни на одном из курортов я не дышала таким изумительным воздухом!»

— «Ты не могла его встретить на земных курортах, — сказал Горянский, — потому что это — озон, чистейший озон с кислородом.

— Сюда действительно бы следовало отправлять больных для лечения... — Вот теперь мы и устроим лунные курорты, — улыбнулся он Елене, — а Мукс станет посыльным и будет ездить на землю по поручению больных».

— «Нет, — с важностью ответил Мукс, — не хочу на землю, мне здесь нравится... Я уже не боюсь теперь... И потом здесь так вкусно...»

— «Вот видишь, Елена! Уже есть один свежеиспеченный лунный патриот, изменяющий земле!..

— Да, атмосфера здесь прекрасная!.. Но не могу понять, как попал сюда озон и почему держится здесь этот воздух, не улетающая на поверхность?!

— Но давай продолжим наши исследования!

— Вперед, новорожденные силениты!

Они двинулись дальше с отвинченными шлемами, болтавшимися за плечами, захватив с собой петуха; все по-прежнему с удовольствием дышали, как будто ели что-ни-

будь вкусное; воздух был теплый и влажный и отдаленно напоминал морской воздух земных побережий.

Влажность эта сильно удивляла Горянского, так как нигде не было видно никаких следов воды.

Подвигались дальше, скользя на темно-зеленых плитах...

Всюду, куда хватал только свет электрического фонаря, который нес Горянский, расстилались эти плиты, каждая из которых была более сажени в длину и в ширину...

Горянский не мог определить, что это была за порода; он думал, что это немного похоже на земной малахит... Но где и когда можно найти малахит в таком количестве и такого размера? Ведь каждая из плит была цельной!..

Он поднял лампочку; высоко-высоко возвышался гигантский свод.

Наши туристы незаметно вошли в пещеру колоссальных размеров; темно-зеленые плиты пола без конца тянулись вдаль, куда не доходил свет электрического фонаря.

Горянский осветил фонарем стену пещеры — стена была также облицована такими темно-зелеными плитами, — очевидно, ими была выложена вся пещера.

Так шел Горянский со своими спутниками все дальше и дальше, пока не остановился, боясь заблудиться.

Протяжение громадной пещеры, казалось, не имело конца...

Никакие земные сооружения не могли сравниться с этой изумительной работой неведомых лунных строителей. Несколько Исаакиевских соборов можно было бы поставить в пещере друг на друга, да еще осталось бы место для Notre Dame de Paris!..

Горянский уже собирался вернуться из опасения заблудиться или забраться слишком далеко, решив отложить дальнейшую экскурсию до следующего лунного дня, как вдруг Мукс, игравший с петухом, стал звать Горянского и Елену.

Они подошли.

В левой стене, служившей началом необозримого свода, виднелся ряд ниш почти у самого пола. Они были совер-

шенно пусты, высотой в два человеческих роста, облицованные внутри бело-розовым минералом, напоминавшим мрамор, но более блестящим; они напоминали большие, но изящные раковины. У некоторых часть пола была приподнята и образовала как бы лежанку.

Нигде не было видно воды, но воздух становился все более и более влажным...

Еще шаг — и Горянский замер одновременно в испуге и восхищении: — прямо на него, — казалось, непосредственно из-под вершины свода, — падал грандиозный водопад, раза в два больше Ниагары... Но в то же время не было слышно ни звука; падала и пенилась вода, отсвечивая при электрическом свете фонаря сотней тысяч радуг; переливалась, играла и вспыхивала бриллиантовая пена, и все совершенно бесшумно...

И, наконец, почему он, Горянский, не смят, не уничтожен, не унесен, как былинка, лавинами льющихся вод?

Все трое стояли, как зачарованные в арабской сказке...

Наконец, Мукс закричал: — «Да, ведь это же стекло! Тут можно сделать миллион зеркал!..»

— Смотрите, мистер Горянский!»

Горянский шагнул вперед. Действительно, то, что он видел, было иллюзией, оптическим обманом... Но на самом деле было нечто еще более изумительное: колоссальная, совершенно прозрачная стена, как хрустальный занавес, перегородившая всю пещеру от края до края, сливаясь со сводом...

Водопад, который видел Горянский, действительно падал, но только он падал за этой стеной. Необычайная толщина стены — на взгляд Горянского она была почти двухсаженной — не мешала ее прозрачности, — с изумительной отчетливостью были видны каскады и бриллиантовые всплески пенящихся струй... Масса воды низвергалась почти с двухверстной высоты за стеклянной стеной...

— Какие руки могли выстроить эту стену? — Какие машины? — Какие инженеры?

Водопад, больше Ниагарского, превращенный в изящнейшую игрушку, падал как бы в аквариуме...

Для полного сходства не хватало только рыб; но характерной особенностью и изумительной сказочной пещеры, — и кратера, — и пустынной лунной поверхности являлось полное отсутствие каких-либо живых существ...

Здесь, в великолепной пещере, изящно облицованной темно-зеленым, — с чудным воздухом, с изумительным грандиозным аквариумом, — это было странно до жути: казалось, хозяин, могущественный и мощный, приготовил все гостям, а сам ушел отдыхать; — вернется ли он?

Земная техника, земная архитектура в сравнении с величию и простотой этих изумительных форм из прозрачного и крепкого минерала казалась Горянскому жалкой и маленькой.

У последней ниши, рядом со стеной, виднелась прозрачная рукоять с наконечником из того же темно-зеленого минерала, на котором в форме изящно насеченного барельефа был изображен диск, в котором Горянский по главным линиям без труда узнал наш, земной; рядом с ним — другой, в несколько раз больше, со струящейся коронкой, — солнце...

Внезапная догадка охватила Горянского; он схватил подающуюся рукоять и изо всех сил повернул ее влево — ничего...

Вправо — ослепительный свет залил пещеру!..

Это было волшебное, сказочное зрелище, перед которым бледнели арабские сказки: — прозрачная стена казалась сплошным бриллиантом — синие, голубые, розовые огоньки закипали в танцующих водяных каскадах; вода пенилась, как шампанское, и пена белее девственных снегов Альпийского глетчера поражала радужными искорками...

Без конца низвергалась лавина воды в прозрачном, и нельзя было долго смотреть на нее — она гипнотизировала; начинала кружиться голова...

Горянский отвернулся: темно-зеленый зал, освещенный неведомо откуда брызнувшим светом, виден теперь был весь, с рядом колонн, которые раньше не были заметны, у входа...

Свет заинтересовал Горянского; он повернул блестящую рукоять до отказа налево — свет сиял по-прежнему; поставил ее в первоначальное положение посредине — свет погас; вправо — свет опять появился.

Так вот он, таинственный выключатель!.. — Но откуда же берется свет?

Сколько ни смотрел Горянский, он не мог найти какого-нибудь отверстия, ничего похожего на газовый фонарь или электрическую лампочку... В чем же источник света? — Мозг Горянского, мозг инженера и открывателя был сильно заинтересован.

— «Иди сюда, Володя!» — позвала Елена, которая нашла в глубине другой ниши рукоять, похожую на первую.

Горянский взглянул внимательно: на рукояти был такой же розовый барельеф, но только с изображением падающих капель.

— «Вода!» — подумал Горянский. Он не ошибся: поворот вправо — во всех нишах, от прозрачной стены до самого входа, во всех сразу, сколько их было, появилась вода!

Мукус, опустившийся ко дну ниши, с криком отдернул руку:

— «Ай-ай! Да она горячая!»

Горянский и Елена наклонились к бассейну ниши и оба, почти одновременно, приподнялись с различными восклицаниями:

— «Да это, действительно, чертовский кипяток!» — сказал Горянский.

— «Ай, какая холодная!» — воскликнула Елена.

Действительно, в одном бассейне вода с одного края была горячее лавы, с другого — холоднее льда.

Горячая и холодная вода были вместе, в одном бассейне, ничем не разделенные, и каждая сохраняла свою температуру.

Удивление Горянского возрастало. Он привел рукоять в прежнее положение — вода во всех нишах исчезла.

Он потрогал стенки бассейна: они не были ни горячие, ни холодные, ни влажные, — вода не оставила никаких следов.

Горянский переложил рукоять налево, ожидая, что, как и в первом случае, не получится никаких результатов, но ошибся: мгновенно, с легким серебристым шумом, на высоте почти версты появились тонкие водяные струи, которые стали перекидываться от одной стены к другой...

Через минуту сверкающий потолок из водяных струй заслонил собой свод залы. Потянуло прохладой. Воздух стал более влажным.

Полюбовавшись несколько минут вторым сводом, Горянский поставил рукоять в середину.

Все исчезло: — не было даже капель на стенах... Не было видно никаких отверстий, из которых могла бы появиться вода.

...Лишь влажность и легкая прохлада напоминали о том, что было за минуту.

Горянскому захотелось пить; он опять перевел рычаг налево — к его удивлению, ни холодной, ни горячей воды отдельно не появилось — вся вода была ровной, приятной, почти комнатной температуры.

Горянский начинал уставать от всех этих необъяснимых явлений...

Он понимал, конечно, что это — не чудо, и что все это вызывается определенными техническими причинами, — но, как видно, лунная техника была неизмеримо выше земной, и он должен был сознаться сам себе, что пока понимает во всем этом, как готтентот в паровозах...

Жадно напившись воды, Горянский так и оставил рукоять повернутой направо, кинул еще один взгляд на застекленный водопад и заявил, что пора возвращаться.

Елена и Мукс последовали его примеру и тоже утолили жажду. С большим трудом потащили Мукса, который ни за что не хотел уходить от чудес.

Идти по освещенной теперь пещере можно было гораздо быстрее. Кукареканье пуха, восклицания Мукса и разговоры Горянского с Еленой были единственными звуками, нарушавшими безмолвие, но разговоры и восклицания раздавались редко, — все устали; даже неугомонный петух кукарекал реже и Мукс тоже завял...

Вот уже виднеются колонны — сейчас должен быть выход на площадку.

Но что это?

Широчайшее изумление открывает глаза Горянскому: где же выход?

Выхода нет!.. До самого свода расстилается темно-зеленая стена...

Раз двадцать обходил Горянский с Еленой и Муксом стену в надежде найти какую-нибудь рукоятку — что-нибудь понять, уяснить себе, каким образом могла появиться стена, почти в две версты вышиной и около версты длиною, на месте, где час тому назад был вход... но ничего понять невозможно...

В изнеможении опускается Горянский на зеленые плиты...

— «Как странно, Елена, — говорит он, — неужели мы перелетели расстояние между землей и луной, преодолели всевозможные опасности, — неужели я работал десять лет над созданием «Победителя» для того, чтобы в конце концов быть замурованным, заживо погребенным здесь, в этом зале? Какая странная, какая бессмысленная вещь — случайность!»

— «Мы не погибнем, милый, нет!..» — отвечала ему Елена, — у меня есть какое-то предчувствие, какое-то чутье, что все кончится благополучно... Мы еще увидим луну! Мы еще увидим землю! Мы еще увидим нашу ракету! Мое предчувствие меня еще никогда не обманывало...

— Приляг, милый, успокойся, соберись с мыслями, — может, еще что-нибудь придумаешь...»

Мукс, сидевший рядом, плакался:

— «Пропавшее наше дело, мистер Горянский!.. Не видать мне больше Чигриноса!..

— Видно, разгневался на нас лунный хозяин, что украли мы у него свет и воду! Не выпустит он нас отсюда».

— «Свет и воду!..» — догадка уколола мозг Горянского; он опрометью кинулся бежать по освещенному залу...

В двадцать гигантских шагов он очутился у водопада...

— «Да, надо отдать свет и воду, — Мукс, несомненно, прав!» — подумал он и положил вторую рукоять в нише на середину — вода исчезла; он поставил на середину первую рукоять — свет мгновенно погас...

— «Володя, — раздался почти одновременно радостный голос Елены. — Иди, проход открылся!»

— «Выпустил нас лунный хозяин!» — заливался Мукс.

Через десять минут они были на площадке перед входом.

Горянский осветил фонариком вход; как прежде, изгибалась колоссальная арка; не было никаких следов только что исчезнувшей стены... Решительно: — лунная техника слишком неуловима!...

Отсчитали девять площадок, — на девятой надели шлемы.

— «Петуха мы оставим здесь, — сказал Горянский, — иначе он задохнется, так как футляр мы разбили. Заберем петуха завтра».

Елена накрошила петуху несколько бисквитов, которые у нее были с собой, причем Мукс не упустил случая стянуть у него один бисквит, за что и получил от петуха хороший удар клювом. После этого инцидента между петухом и Муксом, исследователи лунных недр покинули площадку.

По наклонному склону и расселине они поднялись к краю отверстия кратера. Яркий свет прожекторов указал им дорогу к «Победителю».

Через тридцать пять минут они были у ракеты.

Горянский взглянул вверх: опрокинутая чернильная бездна с звездными угольями попрежнему висела над головой.

Земной диск стоял в зените. На луне была полночь.

Горянский отворил боковую дверцу в выступе ракеты, чтобы снова ее герметически захлопнуть; минута толкотни в тесном коридорчике — и они опять на месте!

— «Да, лунный хозяин прав, — говорил Горянский, — он закрыл вход, чтобы заставить нас выполнить правило вежливости: — действительно, неделикатно в квартире своих знакомых оставить на всю ночь гореть электричество и, вдо-

бавок, открыть еще кран у водопровода! Он проучил нас поделом!

— Ну, надо сообщить обо всем этом Чемберту!»

Горянский подошел к телефону:

— «Алло! Земля! Чемберт! Говорит Горянский! — закидывал он пространство. — Алло! Земля! Чемберт!» — двадцать раз повторил он призыв... Аппарат не работал. Земля молчала...

ГЛАВА X.

Опять в пространстве.

Тяжелая грусть охватывает население ракеты...

Неисчислимое количество раз за время двух лунных суток кидался Горянский к бесполезному телефону и оглашал пространство беспцельными призывами.

Искрилась антенна «Победителя»; красноватые и большие, высоко взлетали искры — напрасно! Земля по-прежнему молчала, Чемберт не отзывался!..

Горянский прекратил исследование луны, в течение долгого времени возился с прибором, пересматривая малейшие его части, думая, что, может быть, двигатель испорчен...

Но вдруг, когда истекали третьи уже лунные сутки, — слабый звонок задребезжал в приборе... чуть слышный, надорванный голос донесся из пространства, но, увы, это был не Чемберт!

Это говорил Тамповский.

— «Господин Горянский, — хрипел измученный голос телеграфиста, — страшное несчастье! — Мистер Чемберт убит!..

— Говорю с вами, вероятно, в последний раз!.. Башни радио разрушены!.. Еле держится, шатается главная башня, с помощью которой я говорю с вами... Через минуту и она рухнет!..

— На острове все разломано!.. Эллинги горят!..

— На нас позавчера неожиданно напали туземцы, и Джонни вместе с частью рабочих отразил нападение и спас Л/з...

— С туземцами двое из наших рабочих... Один из них и убил Чемберта... Апфель тоже убит.

— И все из-за вашего золота!.. Они хотят золота!

— Туземцы разделились: Чигринос со своими сородичами все время защищал нас... Теперь он, кажется, тоже убит...

— Не знаю, что теперь будет!.. Я совсем болен!.. Джонни ранен!.. Мы с Джонни совершенно измучились!..

— И зачем только мистер Чемберт не отправил с острова этого проклятого золота!..

— Запасы энергии, заготовленные для вас, рассеялись в пространстве... над островом была страшная буря... Не знаю, что будет далее... — голос оборвался... послышался широкий шершавый шорох, шум и еле слышный треск... Вероятно, упала последняя радио-башня... Аппарат замолк.

Трубка выпала из рук Горянского... Он зашатался и изнеможенно прислонился к стене каюты...

Мукс изумленно таращил свои большие черные глаза...

Ничто, даже гибель всех его машин, бесцельная гибель энергии, предназначенная для нового, еще более отдаленного и трудного межпланетного полета, — не поразило Горянского так, как известие о смерти Чемберта!..

Горянский вспомнил московские баррикады, вспомнил сколько раз спасал ему жизнь Чемберт, вспомнил годы совместной борьбы и работы на острове...

Увидел Чемберта, всегда спокойного, всегда корректного, всегда выдержанного, отчетливого, как хронометр, — Чемберта, который отдал все: — и себя, и состояние, и жизнь ему, Горянскому...

Чемберт умер, его убили!.. О, будь у него, Горянского сейчас энергия, радио, много радио, — он стер бы остров с лица земли!.. Он потопил бы его в океане!..

Но кому же мстить?

...Золото!..

— Да будет проклят тот час, когда он, Горянский научился делать золото!.. Это он, безумный, — виновник гибели Чемберта!..

Жестокое горе шатало мозг Горянского...

Стоит ли жить, когда смерть все равно существует, когда умирают такие люди, как Чемберт?!..

Почти ощущая физическую боль, метался Горянский по ракете.

Елена с трудом успокаивала его...

— «Пойми, Елена, — рыдал он, как ребенок, у нее на коленях, — этот человек был мне все: он был мне роднее отца, ближе друга!.. Он был мне соратник в творчестве!.. Теперь никого, никого не осталось у меня!

...Я — один во вселенной!..»

— «А я?..»

— «Да, прости, — горе оглушило меня!.. Теперь только ты, только ты — жена, соратник, друг, — осталась у меня во всем мире!..» — воскликнул, как бы проснувшись, Горянский, твердо прижимая к себе Елену.

Он вскочил с внезапной энергией:

— «Назад! Мне противен вид луны!..»

— Я хочу тотчас же видеть остров, встать на могилу Чемберта!..

— К земле! Скорей к земле!»

Он подбежал к двигателю и поразился: приемники радио-активной смеси были почти пусты.

— Что это?

Правда, истрачено было более половины имевшегося запаса радио на безуспешные, безумные, почти ежесекундные попытки снести с Чембертом, в течение трех суток, но оставшейся половины должно было ведь быть более чем достаточно для возвращения на землю.

— Что же это? Или, может быть, разложение радия, его утечка происходит здесь быстрее, чем на земле?

Горянский оглядывает машину еще, — еще — снова контролирует приемники...

— Да, несомненно, так!.. Простой, но страшный факт: как бы то ни было, в приемниках почти нет смеси!

Горянский сообщает об этом Елене. Мучительное отчаяние охватывает его: — все кончено... так просто...

И незачем было уходить из темно-зеленого зала, не всели равно было: умереть там с голоду или задохнуться здесь, в маленькой железной клетке, когда за недостатком

энергии прекратит свое действие прибор, вырабатывающий воздух?

Или покинуть ракету, переселиться с Еленой и Муксом в пещеру и стать селенитом, лунным обитателем, без надежды когда-либо вернуться на землю?

Горянский предвидел, предвидел ведь такую возможность недостатка радио в ракете, но опрокинуты ведь радиобашни, которые могли бы послать ему с острова запасы энергии через пространство...

Радий!.. Если бы у него был радий!..

Он изготовил бы сам радио-активную смесь, чтобы вернуться...

Он бурно приподымается:

— «Елена, здесь на луне должен быть радий!.. Мы будем искать его! Мы найдем! Отправимся сейчас же!»

— «Хорошо, милый, идем!» — соглашается Елена.

Они одевают костюмы. Горянский уже готов отворить дверь в двустенный выходной коридор, как вдруг простая мысль появляется в его мозгу: зачем искать и исследовать пешком, взбираясь на лунные горы и пики, когда пока имеется в распоряжении «Победитель»? Остатков реактивной смеси более чем достаточно для того, чтобы ракета облетела десятки раз вокруг лунного шара и исследовала поверхность луны во всех направлениях. Правда, она летит слишком быстро, но можно будет опускаться в нужных местах и производить исследование.

Да и все равно, почва поверхности той стороны лунного шара, на которой они опустились, ничего не обещала в смысле радиоактивности! Конечно, следовало бы обследовать ее детально, но... какой-то толчок подтолкнул мысль Горянского, не попробовать ли посетить раньше второе, еще неизвестное им полушарие луны? В случае неудачи, ракета ведь легко сможет вернуться; но, может быть, там, именно там, они найдут радий?!

Горянский поспешно снимает предохранительный костюм; удивленные Мукс и Елена следуют его примеру.

— Мы поищем на другой стороне! — говорит Горянский, подходя к рычагам; упругий толчок. Обращенная в метал-

личный дирижабль ракета взмывает над скалистой поверхностью и мчится в направлении лунного полюса... Иссеро-черный лунный север расстилается внизу...

Но что это? — Скорость чрезмерно увеличивается — Горянский с изумлением смотрит на двигатель — тот исправен, но скорость все возрастает... Какая-то могущественная сила притягивает их...

Может быть, они попали в сферу притяжения какого-нибудь еще неизвестного небесного тела, какого-нибудь спутника луны, еще не открытого земными астрономами?

Но как бы то ни было увеличенная, в силу неизвестных причин, скорость «Победителя» все возрастает и доходит до трех верст в секунду!.. Поверхность луны проваливается с ужасающей быстротой...

Горянский в отчаянии приводит в действие носовой реактивный прибор: скорее, скорее попробовать затормозить ракету!..

Отчетливо работают двигатели, мантия газа моментально расстилается перед носом ракеты, ракета сопротивляется, как живая, — бесполезно: скорость растет!..

Изумление и отчаяние пронизывают мозг Горянского.

— Содрогание!..

— Толчок!.. — Еще толчок...

— Расшвыривает на пол пассажиров космической ладьи!..

Горянский теряет сознание...

Бессильная сопротивляться, очевидно, втянутая в сферу солнечного притяжения ракета мчится в пространство...

Елене кажется, что она спит... страшный сон возникает в ее мозгу: ей снится, что она маленькая девочка и лежит у себя в детской, в кроватке...

Вселенная суживается — маленькие, как игрушечные шарики, планеты кажутся мячиками... Вот они всплывают в детскую и танцуют над головой...

Вот рыжий мячик, больше других — солнце!..

А это что? — Маленькое, как иголочка, — нет, еще меньше, — как игольное острие, — как обломок игольного острия отделилось от одного из шариков и мчится к рыжему

мячу!.... Елена знает, что это ракета, но Елене не страшно, — наоборот, любопытно и очень смешно. — Какая интересная игра! Какие славные мячики! — Положить бы их все к себе под одеяло!

Громадная рука вырастает над шарами и любопытно Елене, что же будет дальше?

Рука берет маленькое, мчащееся к рыжему мячику, и поворачивает это маленькое обратно... Все исчезает...

Кто-то неизвестный и ласковый подходит к Елене, кажется ей — входит в мозг и глаза...

— «Не бойся, — говорит ей незнакомец, — я — не призрак, я — не мертвый, я — живой, такой же, как ты...

— И ты когда-нибудь будешь такой же, как я!..

— И я помогаю вам, потому что все мы братья и все мы — едины! И ты мне — сродница и сестра, хотя и родилась на земле далекой!

— Вы вернетесь к луне и когда будете близко к месту, где опустились раньше, ты разбудишь милого своего — он здоров, спит, так же, как и ты, но только, увы, не видит и не слышит...

— Вы опуститесь, где были раньше, придете к ступеням, и я опять помогу вам.

— Люби и не бойся, сестра!» — И ласковый, как еле слышное касанье нежных, щекочущих мозг крыльев бабочки, голос затих, замер, казалось, в бесконечной безграничной пустоте...

И грустно без него стало Елене... И страшно... И одиноко... И захотелось умереть, но вспомнила, что есть у нее еще Володя и что надо ему помочь...

Проснулась: — лунная выпуклость выростала совсем близко в окне; измеритель показывал восемьсот верст...

Елена привела в чувство лежавшего неподвижно Горянского и рассказала ему свой сон.

Горянский улыбнулся: — «Очень поэтично, но неправдоподобно; совсем, как в оккультных романах; у тебя расстроились нервы, девочка моя, тебе нужно полечиться!..»

И грустно было Елене, что Володя смеется, — тягостно было и больно...

— «Не понимает, — думала она, — умный, но не понимает!..» — вспомнились ей слова во сне, что он не видит и не слышит...

Но как бы то ни было нужно было спускаться...

Лунная поверхность — все больше и больше... Горянский привел в движение реактивный тормоз и благополучно спустился на прежнем месте, как раз у подножья пика.

Горянский очень просто объяснял себе историю с ракетой: просто они попали в сферу притяжения какого-то еще неизвестного пока небесного тела близ луны; приведенный в действие реактивный тормоз противодействовал его тяготению; от этого возник ряд толчков... От одного из них, очевидно, ударившись, Горянский и потерял сознание.

За время его обморока двигатель справился, как видно, с этим неведомым тяготением, и неуправляемая ракета начала падать на луну; тут Горянского привела в чувство Елена и он стал управлять двигателем.

Так объяснил себе все Горянский. Рассказу Елены он не придавал ни малейшего значения...

Итак, они снова на луне, на старом месте! Им не удалось поискать радий... Что ж? — Они поищут здесь!..

А теперь Горянскому прежде всего захотелось есть.

— «Чемберт!.. Чемберт!.. — думал он, прожевывая бутерброд, — известие о его гибели послужило началом всех несчастий...

Как странно: — он два дня тому назад умер на земле, они сейчас чуть было не погибли здесь!..

— Чемберт! Хороший, милый Чемберт!..»

На короткую долю мгновения Горянскому показалось, что он явственно видит за окном окровавленное лицо Чемберта. Горянский протер глаза — ничего не было: громада лунного пика безжизненно возвышалась за окном.

— Что же это? И у него, Горянского, тоже начались галлюцинации! Или эта пустынная луна населена призраками?

— Час тому назад — Елена, сейчас — он. — Нет, им всем, очевидно, надо лечиться!.. Скоро даже хулиганище Мукс

начнет беседовать с духом Чигриноса!... Надо взять себя в руки!

Не жалея воды, запас которой был невелик, Горянский вылил себе на голову полведра холодной влаги и в спальном отделении обтерся весь мокрой холодной губкой. Он посоветовал такой же холодной душ Елене, и сначала и слышать не хотел о том, что б тотчас же отправиться к ступенькам, как умоляла Елена, а собирался заняться радио-активными изысканиями почвы вблизи «Победителя» и уже собирал все необходимые инструменты, но потом, подумав, что в пещере можно захватить свежей воды и что можно поискать радий и там, вспомнил почему-то одновременно, по какой-то смешной ассоциации про оставленного петуха, поддался на упорные уговаривания Елены, настаивавшей, что идти нужно сейчас же, — согласился.

Надев предохранительные костюмы, они отправились.

ГЛАВА XI.

Кладбище бессмертных.

Горянский, Елена и Мукс остановились на последней площадке.

Кукареканье петуха доносилось уже почти из-под сводов пещеры; они не нашли его на прежнем месте на площадке: он, очевидно, в своих прыжках увлек за собой футляр, к которому был привязан.

И если бы не его бодрое земное «кукареку», то можно было бы подумать, что с петухом что-нибудь случилось.

Горянский, смеясь, отправил за ним Мукса. Тот отправился, прыгая, как блоха, с электрическим фонариком...

Минуту Горянский провожал глазами прыгающего светлячка, потом обернулся: с Еленой происходило что-то странное; — он поднял свой фонарик (у него их было несколько про запас) и осветил ей лицо; невзирая на широко раскрытые глаза, оно было как у спящей...

Оно просвечивало, как будто изнутри его освещали...

— «Идем!» — сказала она, протягивая вперед руку.

— «Куда?» — спросил ошеломленный и немного испуганный Горянский, решивший, что у нее снова галлюцинация.

— «Не знаю — меня зовут!.. Идем!..» — и она пошла куда-то. Огорченный Горянский следовал за ней.

Елена шла твердо и уверенно, как по давно знакомой дороге, вглядываясь широко раскрытыми глазами во тьму. Она дышала ровно и спокойно, как во сне, и не говорила больше ни слова.

Они подошли к самому краю площадки; перед ними была стена из гладких плит; влево был обрыв.

Горянский приподнял свой фонарик и сделал шаг к Елене: он боялся, чтобы она не подошла слишком близко

к обрыву. Но его опасения были напрасны: легко и уверенно пододвинулась она вплотную к стене.

Дальше произошло нечто, опрокинувшее все соображения Горянского: свободно, с той же странной механичностью, которая отличала теперь все движения Елены, она приложила палец к стене в трех разных местах (ни она, ни Горянский потом никак не могли отыскать этих трех точек); капитальная толстая стена, в несколько сот саженей протяжением, бесшумно взвилась вверх, как занавес в театре.

Открылся проход, залитый ослепительным сверкающим светом.

В одно мгновение стало светло, как днем. Свет залил площадку и каменные ступени; в отдалении явственно виден был Мукс, бегущий с петухом...

Елена вошла в сверкающий проход. Не верящий своим глазам Горянский пошел за ней. — Как только он вошел, Елена опять деловито поднесла руку к трем разным местам стены.

Грандиозная стена так же бесшумно опустилась.

Елена по-прежнему молча двинулась вперед...

По обоим сторонам вздымались колонны, такие же прозрачные, как стена в темно-зеленом зале.

Прямо перед вошедшими вздымалась лестница, тоже вся прозрачная, как бы сделанная из хрустала.

Елена пошла вниз по стеклянным ступеням. Горянский вслед за ней опускался все ниже и ниже...

Прозрачных колонн по обоим сторонам лестницы уже не было; — по бокам ее возвышались две колоссальных, прозрачных стены, вплоть до самого потолка, тоже прозрачного.

Все внутри опускавшегося вниз стеклянного коридора было залито таким же светом, неизвестно откуда исходившим, но только еще более ярким и ослепительным.

Елена по-прежнему опускалась вниз. Горянский следовал за ней...

— Ниже и ниже, — они прошли уже более тысячи ступеней...

Горянский начинал уставать.

А Елена шла по-прежнему бодро, казалось, не чувствуя ни малейшей усталости. Она дышала равномерно и спокойно и на ходу, казалось, спала...

Горянский с естественным любопытством вглядывался в глубь стеклянных прозрачных стен. Ему начинало казаться, что что-то похожее на гигантские соты или на ряд саркофагов, поставленных друг на друга, возвышалось за этими стенами.

Опустившись еще ниже, Елена остановилась на небольшой площадке перед маленьким возвышением, сделанным, на взгляд Горянского, из темно-розового гранита.

На вопросы, задаваемые Горянским, Елена по-прежнему не отвечала... Она нагнулась и протянула руку к одному из стеклянных овалов, похожих на два больших стеклянных яйца, по бокам розового возвышения. Стелянный верх приподнялся и опустился так быстро, что Горянский не успел ничего рассмотреть, — только заметил голубоватое сверкание, как бы вырвавшееся из стеклянной крышки.

Елена держала в руках такое же яйцо, только в миниатюре, и протягивала его мужу механически, безразлично. Он взял.

Верхняя половина открылась, — Горянский не мог поверить, он ущипнул себя до боли, чтобы убедиться не галлюцинация ли все это, — там был радиий, — более ста граммов радиия! Столько радиия не было, пожалуй, на всей земле! — Тот радиий, который он искал, который был ему нужен, как воздух!..

И он получил его из рук Елены каким-то невозможным, сказочным образом, в обстановке, похожей на страницы из «Тысячи и одной ночи»... Какая странная история!..

Или, может быть, оккультисты правы, и нереальное, сверхчувственное существует?

Елена стоит неподвижно и спокойно...

Вдруг она приподымает руку, как бы желая обратить внимание Горянского.

Изумление его превосходит всякие границы: русские буквы!..

Да, самые обыкновенные русские буквы, отливая золотом, появляются на темно-розовом граните:

«Не бойся, я — не дух, не призрак!..»

Золотые буквы дрожат, переливаясь на граните.

— «Я такой же живой, мыслящий, радующийся, как и ты!..

— Только я старше тебя, намного старше: ведь мне уже более десяти тысяч лет!

— Я говорю с тобой с отдаленнейшего мира, название которого все равно ничего тебе не скажет, так как ваши астрономы лишь через много столетий его узнают.

— Я говорю с тобой и помогаю тебе, потому что мы с тобой — одно, ибо любовь и мыслящее начало действительно едины во вселенной.

— Но мы ушли неизмеримо, неисчислимо вперед, по сравнению с вами, земные братья: — ты прилетел сюда с помощью радия, овладев тем, к чему не пришли еще другие земляне, и ты, действительно, гениален, ибо пока это — высшее проявление творчества на земле.

— Но взгляни:»

Яйцевидные крышки по обоим сторонам распахнулись; голубое сверкание наполнило воздух...

— «Смотри, — писали чудесные буквы, — ты можешь здесь видеть радий пудами... — Крышки захлопнулись.

— Я могу делать радий по прихоти, по капризу, так же, как ты научился только что делать золото, но это совершенно неважно! — есть иные силы, — неисчислимое количество сил, часть которых и вы когда-нибудь узнаете, — которые неизмеримо могущественнее радия; все они — проявление единой мировой силы, которую знаем мы.

— С помощью этой силы я разговариваю сейчас с тобой на расстоянии, которое в сотни миллионов лет пробегает свет, — для вас величайшая скорость во вселенной.

— С помощью этой силы я спас тебя и остановил твою ракету, когда она падала на солнце.

— Мы овладели этой силой вполне, как вы овладели рычагом и паром...

— Да, мы могущественны!..

— Эти ничтожные жалкие явления, что так поражают тебя, для меня — только легкая простая игра. Но когда-нибудь и вы будете играть так же, ибо во вселенной процветают и ценятся великие игры.

— Планеты не живут отдельною жизнью — все они связаны между собою величайшей силой тяготения, сущность которой долго еще будет непонятна вам.

— Кроме того, свет постоянно течет между ними, как кровь в организме.

— Движение света — поистине кровообращение вселенной; тела планет обмениваются лучами как поцелуями... Тончайшие неуловимые былинки — зародыши жизни и бактерии — переносятся световыми лучами в силу лучевого давления с одной планеты на другую — планеты оплодотворяют друг друга.

У вас есть индийская легенда, что рис и пшеница упали с неба, — это верно: не только рис и пшеницу, но много других подарков вы получили с других планет, но больше всего вы получили от нашей луны, как ближайшего к вам планетного островка.

— Из одной массы создались луна и земля, только мы раньше оторвались от раскаленной газовой массы, и луна раньше формировалась и охладела; у нас были уже разумные существа и цивилизация, когда раскаленная молодая земля была еще маленьким солнцем.

— Под двумя солнцами расцвела наша культура, и величие и мощь ее возросли.

— Ваши ученые напрасно ищут промежуточного звена между обезьянами и людьми, ибо иное, совсем иное происхождение человека...

— Аоантроп и питекантроп, найденные вашими исследователями, действительно существовали, но они — результат смешанных браков. Братья — мы с тобой по плоти и мысли, как и сестры создавшие нас планеты!..

— Как только начала остывать земля, как только первые материки и океаны очертили края на земном диске, — сейчас же явились смельчаки, которые на аппаратах, подоб-

ных твоей ракете, и на других, — устройство которых тебе непонятно, — отправились туда.

— Наша культура уже тогда была высока, — выше вашей теперешней земной, и над первобытными океанами земли реяли лунные аэропланы; ихтиозавр и птеродактиль падали от электрических ружей лунных пришельцев...

— Слишком тяжела даже и для наших исследователей, — не в силу даже и для них была борьба со стихией, юной и мощной... И много погибало их, особенно от земных бактерий...

Но снова и снова летели аппараты с луны на землю и, наконец, на первобытном материке утвердились пришельцы; земля стала как бы колонией луны. Этому способствовало еще и то, что и у нас в те отдаленные времена господствовало насилие.

Наша культура была молода, беззаботна и детски-жесточка, но убийство все же было нам противно, — и вот побежденных в борьбе, кого вы называете преступниками, — стали отправлять на землю, лишив их возможности возвращаться обратно. Они соединились со смельчаками, уже бывшими там, и это была первая разумная жизнь и первая цивилизация на земле...

— Неоднократно она погибала от страшных первобытных бурь, потоков и землетрясений, но луна выбрасывала новых осужденных, и культура эта возобновлялась.

— Ваша легенда об Адаме не лишена основания: действительно, когда появилась человекообразная обезьяна, близкая к питекантропу, краснокожий полузверь, получеловек, — на земле уже были цивилизованные лунные выходцы.

— Так развивались параллельно и рядом две совершенно разные породы.

— Сообщение с луной прекратилось; наша культура стала благороднее и мягче; насилие прекратилось; перед жителями луны развертывались перспективы более великие и более интересные, чем земля.

— О ней стали забывать. Население колонии, не имевшее связей с родной планетой несколько столетий, стало

дичать. Начались смешанные браки, результатом которых и было создание более высокой земной породы.

— Редкие экспедиции с луны были и позже.

— Миф перуанцев о нежном бледном боге Гветцале, скандинавские сказания и саги о светлолицем Бальдуре, китайские мифы о прилетающих с луны драконах есть воспоминания о них.

— Почти везде и всюду высокоцивилизованные пришельцы становятся во главе. Они порождают древние культуры.

— Почти одновременно в Атлантиде, Китае и Египте появляется пар, аэроплан и электричество. Их тогдашние цивилизации почти равняются теперешней вашей, но носили более изолированный характер.

— Ваша легенда о божественном происхождении власти относится к этой эпохе. Титулы фараона и богдыхана — «сын неба» тогда понимались буквально, ибо и они и их ближайшие помощники были, действительно, неземного (лунного) происхождения, и они сами и все окружающие еще помнили об этом...

— Так появились ваши первые большие цивилизации, все не земного, а лунного происхождения.

— Они разрушались в силу смешанных браков, понижавших уровень и способности лунных выходцев, являвшихся мозгом всех этих цивилизаций, а с другой стороны — из-за отчужденности...

— Страна Кеми (Египет) пала под ударами полудиких земных племен; Атлантида погибла под волнами океана — спаслись лишь немногие, основавшие в Америке цивилизацию Перу и Мексики, погибшую много после от насилия Кортеса; Китай омертвел и одичал в своей отчужденности; индийская цивилизация тоже ушла в себя, оградившись от всего остального мира.

— Так вырождались и вымирали остатки благородной лунной расы, но часть их, бывшая в Европе, у берегов Эгейского моря, создавшая миф о богах и героях древней Эллады, положила начало вашей теперешней культуре. Но эти остатки лунных племен за время борьбы и скитаний

много утратили и потеряли. Им пришлось начинать сызнова...

— Постепенно, смешавшись окончательно с земными народами, они совершенно забыли о своем происхождении...

— Так, на протяжении веков, после долгих перепитий, которые тебе, вероятно, известны, появилась и ваша современная европейская цивилизация с ее техникой и культурой, которая, как ты теперь видишь, тоже не земного, а лунного происхождения.

— Две расы у вас на земле: одна — простая, грубая, земная рождается, живет и умирает, вся погруженная в повседневную заботу, думающая только о ней; но смутное воспоминание о родной планете еще сохранилось — у другой; оно заставляет засматриваться на звезды, оно толкает на сладкое безумье, оно начертало гордую надпись римлян: «Sic itur ad astra», гласящую, что путь культуры ведет к звездам, — это она привела тебя сюда!

— Привет же тебе на луне, брат мой, ибо, воистину, мы с тобой одного и того же лунного племени!»

Горянский невольно склонился перед дрожащими золотыми буквами.

— «Не удивляйся, что я пишу здесь на твоём родном языке: корень языков один для всей нашей планетной системы, и наш лунный язык, которого ты, конечно, не поймешь, — все же близок к земному санскриту.

— Я пишу мысли на этом камне, облакая их буквами понятного тебе языка, — пользуясь энергией, неизмеримо быстреей света, подобной тяготению, — еще неизвестной вам на земле. Я общаюсь с тобой из дальнейших пространств, так как мы давно живем во вселенной, и на луне никого нет сейчас, кроме тебя и твоих спутников.

— На более многоцветных, на более прекрасных планетах живем мы сейчас — кочующие странники вселенной.

— Луна служит нам лишь складочным пунктом космической гавани, — временным кладбищем для тех из нас (мы ведь давно победили старость и смерть), кто захочет отдохнуть ненадолго от жизни, устав от бессмертия, чтобы

снова воскреснуть в грядущем; ты можешь видеть их, — усыпленных по их же желанию, — в гигантских сотах за прозрачными стенами перед тобой.

— Когда-нибудь, брат мой, и вы победите старость, смерть, пространство и время, и будете на самоцветных играющих планетах-солнцах вместе с нами, ибо вы тоже — граждане вселенной!

— Ты первый начал победу над межпланетным пространством, ты первый прилетел к нам; возвращайся на землю, пусть за тобой кинутся сотни новых ракет, сотни новых космических кораблей к первой для вас станции в пространстве — луне, и дальше к звездам и солнцам, на необозримые просторы вселенной; — знайте, — нет у вас врагов, кроме смерти, пространства и времени, и, победив их, вы организуете любовь. Торжествуйте же над природой всегда и везде! В океане вселенной мы ожидаем вас! Прощай, брат мой! Привет земле!»

Еще мгновенье дрожали золотистые буквы на граните и пропали бесследно, точно вошли в камень...

Елена ушла обратно, все с такими же широко раскрытыми глазами, по-прежнему безмолвно.

За нею шел еще не пришедший в себя от недоумения Горянский, сжимая в руке радий, и думал о том, что в двух шагах от него, за прозрачной стеной, в величественном покое лежат опущенные в саркофаги жители вселенной, пожелавшие отдохнуть от бессмертия...

Так же бесшумно, как прежде, три раза прикоснулась Елена к стене. Так же мгновенно поднялась стеклянная громада и такими же размеренными движениями заставила Елена ее опуститься. Затем, словно очнувшись, сразу потеряв неживую механичность движений, Елена кинулась к Горянскому:

— «Володя! Что это? Милый, — где мы? Здесь темно и страшно!.. Сейчас я видела, будто иду, иду без конца, в светящемся хрустальном замке...»

— «Ты была там, милая, — серьезно сказал ей Горянский, показывая футляр с радием, и рассказал ей происшедшее. Подскочивший Мукс плакался, что лунная стена, как он

выразился, съела их и долго не отпускала, а он сидел здесь один с петухом и фонариком и плакал...

Прочитанья Мукса и крики петуха смешивались с рассказом Горянского.

Возвращались все, захватив с собой свежей воды в темно-зеленом зале и унося с собой петуха в принесенном из ракеты втором футляре.

Через несколько минут они были уже возле «Победителя». Перед тем, как войти в ракету, Горянский и Мукс с трудом взобрались на вершину острого пика, стоявшего рядом, и водрузили там громадный красный флаг, упавший с ракеты и лежавший внизу.

На скале под флагштоком Горянский с большими усилиями высек своим складным карманным ножом следующее:

— «Здесь были люди 25-го ноября 1918-го года по земному европейскому летоисчислению. Капитан реактивной ракеты — Горянский. Они придут опять».

Они спустились вниз и долго смотрели на свисающее красное полотнище; не хватало земного ветра, чтобы раздуть, распушить могучие красные складки.

«Ничего, — уверенно думал Горянский, — мы создадим на луне атмосферу, если это угодно будет прихоти человека!» Последний взгляд на неширокий горизонт, на мертвый, но величественный лунный ландшафт, — и они вошли в ракету.

Полчаса было достаточно Горянскому, чтобы изготовить реактивную смесь, главная составная часть которой была у него в руках.

Через тридцать пять минут он наполнил приемники смесью, и ракета взвилась в пространство.

ГЛАВА XII.

Последняя и самая маленькая.

«Прощай, луна!» — сказала Елена, вглядываясь в окно на уменьшавшуюся лунную поверхность.

— «Нет, не прощай, а до свиданья! — полуплутя, полусерьезно возразил Горянский, — мы вернемся, Елена, даю тебе честное слово, что люди здесь еще будут!»

Через шестнадцать часов (ракетного времени) межпланетные путешественники уже опять могли наблюдать вращение земного шара...

Только теперь, при взгляде на него, пришла Елена в ужас от мысли, что они могли не вернуться; почувствовала любовь к земле, жадную и простую...

— «Хорошо жить, Володя!» — и руки Елены обвили шею Горянского.

— «Да», — задумчиво ответил он.

— «Земля! — Земля!» — кричал Мукс, подпрыгивая чуть не до потолка ракеты. И восторг его смешивался с звонким кукареканьем петуха, тоже вострепнувшегося при приближении к родной планете.

Через три с половиной часа заторможенная ракета уже нависала над островом. Широкая струя газа из переднего реактивного двигателя уже лизала островную поверхность... — Перевод рычага на последние полмиллиметра! Толчок! Они опять на земле, они снова на острове!

С лихорадочной поспешностью отвинчивает Горянский верхнюю крышку ракеты; Елена в окно видит подбегающую коренастую фигуру Джонни, — с удивлением видит за ним считавшегося ею мертвым похудевшего Чигриноса... Больше никого!..

— Где же остальные?

При виде Чигриноса Мукс пляшет от радости...

Горянский развинчивает, наконец, крышку, и все выскакивают наружу... Земной воздух опьяняет...

— «Ура, мистер Горянский!.. Да здравствует победитель луны!» — раздаются восклицания Джонни.

Чигринос делает молитвенный жест и благоговейно склоняется до земли, он тоже приветствует своих лунных посланцев, каковыми он их теперь уже и сам считает. Увидев Мукса, он так же почтительно повторяет молитвенный жест и склоняется перед Муксом так же низко, как перед остальными; потом, воспрянув, он хватает его за шиворот и изо всех сил начинает лупить бедного селенита, приговаривая: «Ты как смел лететь на луну, проклятый щенок, без моего разрешения? Ты думал укрыться туда от меня с украденными перьями!.. Ты думаешь я не знаю о твоих проделках?

— Хоть ты теперь — и святой сын луны — да будет благословенно ее имя, — Чигринос молитвенно склоняется, не выпуская Мукса, — но я все-таки тебе покажу!» Он снова принимается его лупить. Джонни с трудом отнимает Мукса у расвирепевшего Чигриноса.

— «Где же остальные?» — спрашивает озабоченный Горянский.

— «Уплыли», — отвечает Джонни со злобой: — бежали захватив «Марию», — они боялись, что я их всех перестреляю!.. Мистер Чемберт... вы знаете...»

Джонни судорожно отворачивается. — «Негодяи!.. Но вы не беспокойтесь!» — успокаивает он Горянского, — сообщение с материком возможно — мне удалось отстоять Л/З!..»

Горянский крепко пожимает руку Джонни.

— «Тамповский сильно болен... Ему плохо...»

— Апель погиб...

— Только мы с ним да Чигринос и остались на острове...

— Туземцы, после исчезновения Мукса и отплытия тех негодяев, бежали, решив, что остров под лунным проклятием, и каждую ночь луна будет похищать кого-нибудь...

— Пойдемте к Тамповскому — ему тоже будет большая радость увидеться с вами...

— Потом я покажу вам могилу Чемберта...» — Грусть снова затемнила открытое лицо Джонни...

Горянский оглянулся — все на острове было разрушено; домиков рабочих, мастерских, эллингов, поселка туземцев не существовало... Дикая трава покрыла необработанные пашни и заполнила опрокинутые башни радио... Каменное здание конторы, где ютились Джонни с Тамповским, одиноко возвышалось на образовавшемся пустыре...

— И потом — Чемберт!.. Чемберт!.. Как бы радостно встретил он их, если б был жив! Какая странная вещь — судьба! Она сильнее смерти!.. Победят ли когда-нибудь ее люди?

— Горянский со своими спутниками остались живы после междупланетного полета, — они невредимы вернулись с луны, а Чемберт лежит здесь, на острове, мертвый!.. В той земле, на которую опустилась победоносная ракета!..

— Да, его смерть — как бы искупление первой победы над космическим пространством!..

Грусть затеняет солнечный свет в сердце Горянского...

— Да, древняя Мойра!.. Вероятно, она довлеет даже над могущественными селенитами, победившими смерть.

— Но довольно о мертвых! Жалкими сожалениями Чемберта не воскресить!

— Работать, действовать, жить, бороться, кинуть тысячи новых ракет на луну и дальше! Поднять башни радио, снова создать мастерские, — оживить остров!..

В их распоряжении Л/З! Через три часа они могут быть в Европе... Но прежде — навестить Тамповского! Измученный голос телеграфиста, едва доносившийся через пространство, еще звучит в ушах Горянского...

Последний берет под руку Елену и они вместе идут к Тамповскому.

Телеграфист бледен, изнеможен и страшно истощен, его замучила малярия... Елена дотрагивается до его лба, — он страшно горяч.

— «У него уже три дня такая температура, — печально сообщает Джонни, — лечу его, как могу, чем придется...»

Тамповский открывает глаза... Слабая улыбка растягивает его губы.

— «Господин Горянский! Мистрисс Елена! Мистер Чемберт... знаете...

— Поздравляю вас с величайшей... величайшей победой для чело...» — у него нет сил продолжать, истомленно закрываются глаза... он бредит...

— «Ничего, милый, выходим вас!.. Выздоровеете!..» — ласково гладит его лоб Елена и посылает Джонни в ракету за аптечкой...

. . . Отдав последнюю честь могиле Чемберта, Горянский и Джонни направляются к Л/З. Елена остается с больным...

— «Я закажу широкую мраморную доску на могилу Чемберта, — думает Горянский, — с золотой надписью: «Соратнику товарищу, павшему в честном поединке с природой — от победивших».

Шумит мотор... Изящный взлет Л/З подымает с острова Горянского и Джонни... Упруго содрогаются крылья... Земной влажный ветер обдает лица... Поет пропеллер...

Они летят в Европу...

.....

Прошло три месяца...

Поднятые башни радио величественно возвышаются над ожившим островом.

Искрится и звенит антенна...

Тамповский выздоровел и по-прежнему — в аппаратной.

Шумят возрожденные мастерские...

У берега попыхивает трубой новая «Мария»...

Чигринос и Мукс — влиятельные личности у возвратившихся туземцев.

Лунный радий движет машиной.

Растут новые части новых ракет-сестер победоносного «Победителя»...

Ночь мягкая, темно-синяя, земная... такая ласковая... легла и дышет над океаном и островом...

Горянский и Елена — на берегу...

— «Смотри», — говорит Горянский, — луна как бы приветствует их, появляясь над горизонтом... С недоверчивым любопытством смотрят они на нее — неужели они были там?

Но радий в прозрачном яйце, в невероятном количестве, — оживляющий остров, — небывалые образцы пород и минералов, — захваченные Горянским лунные ландшафты — слишком красноречивы... Да, кроме того, слишком свежи еще в памяти воспоминания лунных прогулок, чудеса темно-зеленой пещеры, хрустального прозрачного зала...

Свежо еще впечатление грустной жути от мертвенной безатмосферной лунной поверхности...

— Да, они, действительно, были там!..

Так стоят они рядом, сладостно вдыхая влажный ночной воздух моря под лучами ласковой луны и вкрапленных в синеву звезд, высоких и блестящих...

И чудится Горянскому и Елене, что взлетают от земли тысячи ракет, туда, на звезды... за солнце... дальше... дальше!..

И кажется, что кривится обиженная, забытая, превзойденная луна, — с ломким треском рушатся распахнутые в солнце просторы...

И слышится голос, нежный и мудрый, как тогда во сне.

— «Мы ждем вас... Пусть кипит и плавится бокал мировой радости...

— Вперед, аргонавты вселенной!..»

Пенза, Гублит № 10.
ТИПО-ЛИТОГРАФИЯ
имени
Тов. ВОРОВСКОГО.
Тираж 4000 экз.

ПОЭМА АНАБИОЗА

Петроград

Комитет поэзии БИОКОСМИСТОВ-ИММОРТАЛИСТОВ
(Северная группа)

1922

Вместо эпиграфа

Затрещиной судьбы перепонку —
— Космическому поводырю
Миру, болезненному ребенку
Я эти строчки дарю.

Сердцем стреляйте метко,
На — взвод — пулеметы любви!
Мир, исцарапанный детка,
Ласку в гости зови.

Может у всех подножий —
Взлетности семена!
Бунт еще весь не прожит,
Радость еще вольна.

Автор.

I.

Синей небесной угрозе
Нашу ли мощь расплескать?
Завтра весь мир заморозят —
Анабиоза войска.

Холода львиная доза
Избавит от глупых задир,
Челюсти Анабиоза
Завтра захлопнут мир.

II.

Так как же быть, когда слепое стадо,
Как глины ком, мешает мир взнести,
Ужель убить его и в тьму отбросить надо —
Чтоб смог весь мир истомно расцвести?!..

Нет, мы не можем в тьму
Человечью гурьбу — коленом!
Вовек не понять никому,
Что дано совершить на земле нам!

Каждый живущий свят,
Если даже он глуп бесконечно, —
На жизнь выдает мандат —
Вольнолюбивая вечность.

Но нам мешают все,
И в дней бегущих смене —
Не только короли огаженной земли
Но даже ты, безумец мудрый, — Ленин!

Как можем завтра мы
Начать величье строить,
На тушах государств, религий и церквей, —
Когда изъязвлены мещанства серым гноем
Сердца тупых и загнанных людей?!

И если мы начнем — безлика громада,
За темными бессмысленно взметясь,
Уткнется рылом в мировую грязь —
И скажет нам озлобленно: — не надо!

III.

И, вот, затем, чтоб никого не убить, —
Заморозим весь мир в государств буржуазной казарме,
Это — проще и легче, чем в кровавый комок превратить
Десятки и сотни живых человеческих армий.

Дружеская рука Анабиоза
Великолепна в гуманитарной роли!
Из сердца человечества занозы
Вынимается легко и без боли.

IV.

Эй, бессмертья дети,
Приходите на помощь к нам!
Мы, операторы столетий, —
— Подобны вселенским врачам.

От Нью-Йорка до Петербурга —
— Величья единый мост,
Осторожная рука хирурга
Срежет кровавый нарост.

V.

Мы взываем ко всем векам. —
Выходите на помощь к нам!
Просыпайтесь, — Сократы, Эвклиды!
Ты, Спиноза, проклявший Талмуд!
Раздвигайтесь скорей, пирамиды,
Пусть Египтяне к нам придут!

Человечьих спасителей секта
Зовет бодрей и звончей:
Эй, к нам, на помощь! — все, кто
Когда-нибудь любил людей!

В сердце веселая вольность.
Мы ведь строим весь мир, а не храм,
К нам, о строитель Сольнес
И ты, о строитель Хирам!

Близок всем наших радостей берег,
Всем ногам наших новей — торцы,
Пусть из Африк, Австралий, Америк
Собираются к нам мудрецы.

Опьянительно мощи убранство,
Вот, смотрите, — не сказка, не бред
На земле, вне времен и пространства
Заседает мудрейших Совет.

Наш порыв уничтожить дремоте ль,
Если мощью наш мозг напоен?
Вот, смотрите — Платон, Аристотель,
Вместе с ними и ты, Эдиссон!

Что же верить нелепым молитвам
Если буен безумья пример,
Если рядом Шекспир и Уитмен
Если с ними прозревший Гомер.

Одурманенный мир отдыхает
В колыбели космических льдов,
Человечества судьбы решает —
Гениальный Совет мудрецов.

VI.

Вот легкий ход воздушной лодки
Меня несет над миром льда;
Мотора стуки звонко-четки
Вонзаясь в прошлого года.

Вот горизонт полетом снижен
Величьем мощи взор дарю;
Легко скользнувши над Парижем,
Я над Москвой уже парю.

Как ты далек, о день вчерашний!
Мещанства злобу разделя,
Моя ладья летит на башни
Оледеневшего Кремля.

Сейчас мне лет не нужен скорый,
Гляжу в лицо векам седым.
Я замедляю пульс мотора
И медленно плыву над ним...

VII.

Вот она, эта грозная сила,
Что всегда устремлялась в века!
Рядом Красная Площадь застыла
И замерзли над ней облака...

Все во льду на стенах часовые,
И внизу, у Кремлевских ворот —
Все стоят неживые-живые
Точно пчелы разрушенных сот.

Эта жизнь, что недавно в присядку
Изузорила блажь трепака,
Ледяною холодной перчаткой
Остановлена сразу пока.

Без единого звука — Тверская,
Хоть прохожих на ней — рои,
И замерзшее солнце пускает
Ледяные лучи свои...

Заморожены толпы сразу,
И застыли странной гурьбой...
Хорошо ледяную проказу
Взвить над самой гениальной страной!

Не звучат и автобусов лаи
И моторов не крикнут гудки, —
На ходу замерзли трамваи,
Точно ранней зимой мотыльки...

Покупателей ждут магазины, —
Где приказчик за стойкой застыл,
И на выставку манят витрины
Там, где свет электрический лил...

Скрипнет дверь и войдет покупатель
Будет все, как в обычности дней,
Только холод завоеватель
Нити жизни зажал сильней.

Пролетаю не спешно бульвары
В сердце сразу — восторг и страх,
Вот замерзли вечерние пары
Обнявшись на бульварных скамьях...

Как интимны и лица, и позы,
О, любовь, цари и ликуй!
Ведь полезны и холода дозы,
Чтобы вечно продлить поцелуй!

Вот замерз на песочке ребенок,
Он замерз в интересной игре;
Ничего! Завтра снова так звонок
Будет смех твой на новой заре!

Нажимаю моторов педали,
Рычаги запели, звеня,
Точно выстрел, проносятся дали —
И Москва унеслась от меня.

Вот впиваю я пристально-зорко,
Мир желая упорно узнать —
Неподвижную гавань Нью-Йорка
Небоскребов взнесенную рать.

Здесь — Рокфеллеры, здесь — Эдиссоны,
Здесь — машины с прошлым седым, —
Этот город застывший и сонный —
— Будет завтра волшебным-иным.

Нет, рука государства не тронет
Больше звучных и солнечных стран,
Ты навеки замерз в Вашингтоне,
В «Белом Доме» — конгресс из мещан!

Мощь машин и турбин, звон железа
— Завтра будет опять грохотать,
Только больше не будут резать,
Голодать и детей убивать!

Не поверят безумной проказе
Те, что новую встретят зарю,
Пролетев над замерзшею Азьею
Я опять над Европой парю.

Власти льдов ты трагически отдан
По играющей прихоти дней,
О, гигантский закопченный Лондон
Вместе с царственной Темзой своей.

Дальше, дальше, скорее, скорее, —
Чтоб изведать целительный сплин,
Вот застыл вместе с узенькой Шпрее
Заглушенный, беззвучный Берлин...

Вот дома мирового Парижа,
Вот и Эйфеля к звездам стрела...
Вот все ниже, и ближе, и ближе,
Чтоб раздвинулась льдистая мгла.

Ах, величье всегда неизменно
Ты прекрасен сейчас и во льду
И тебя, о, веселая Сэна,
Я всегда неизменной найду!

Древний город затих ненадолго,
Будешь завтра звенеть веселей —
Ведь ужалила мука так колко,
Сердце слабых и жалких людей!

Чтобы жизнь человечью исправить
Чтобы стал новорожденным мир, --
Мы задумали жизнь обезглавить
Гильотиною льдистых секир.

VIII.

Землю — на плаху холода!
Анабиоз — на бой!
Мир засмеется молодо
Завтра над нашей рукой!

На эшафоты— льдинами
Царства и города!
Наших мозгов гильотинами
Жизни прервем провода!

Техники мудрой сноровки
Близки к безумнейшей цели —
Пять минут остановки
Жизненной карусели!

Много грязи излишка
Род не выносит рабий,
Да, нам нужна передышка,
Только в планетном масштабе!

Между Жизнью и Смертью
— Вклинем тяжелый воз,
Дверь открывает третью
Миру — Анабиоз.

Глухо закрыты все двери,
Свершенье -- только теперь!
Вот, еще раз проверим,
И выпустим мир в эту дверь.

IX.

И вот по всей земле, войска Биокосмистов
Свершают вольный труд, по воле мудрецов, —
И времени звончей блестящее монисто --
И радости готов бунтующий улов!

Вот корабли плывут из стран буржуазии,
Чтоб хлебом накормить голодную страну
И вот лицо замученной России
Склоняется к тяжелому зерну...

Пока замерз весь мир, у сытых стран излишки
Распределяет всюду наша рать,
Как слет орлов на синей неба вышке,
Мог мозг мудрейших землю озирать.

Рабочих часть и юных инженеров
Освобождаем мы из льда оков,
И вместе с ними наша крепнет вера
Что мир исправленный на завтра будет нов.

Мы чистим землю всю науки мудрой шваброй,
Чтобы навек уйти от скучных мук
И тот, кто звонкий, радостный и храбрый
Тот — с нами, тот — наш друг!

Мы чиним разоренные жилища
И новые дворцы возводим без помех
Чтоб свет, вода, одежда, кров и пища
Отныне были -- всюду и для всех!

Нам служит друг — великолепный радий
Чья мощь всегда — любовно молода.
В Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Петрограде —
Он оживляет наши провода!

Ряды машин мы строим тесным строем
В упор стихиям подставляем грудь,
И прошлое трудом упорным моим,
Чтоб сделать жизнь возможной как-нибудь.

Мы запасаем роскошь, хлеб и платье,
С таким расчетом, чтоб миллионы раз,
Когда его живущие расхватят
Оно б пилося зрчками жадных глаз.

Сложив итоги человеческой мощи,
Все достижения, какие лишь могли,
— Мы роскошью хотим земные рощи
Наполнить всем во всех концах земли!

Не признаем уступок, жутких пауз,
И праздничней работы нашей — нет,
Мы просто строим дни, как старый Фауст —
Здесь инженер, рабочий и поэт.

Х.

Новой датой — истории анналы,
В дебри мира — творящим путем,
От морей — к океанам — каналы,
Руки рек, — мы, как жилы сплетем.

Холодильник — на жаркий экватор,
Отопление — на полюс скорей!
Точно мудрый Эгейский сенатор
Мы крестьяне планетных полей!

Вдоль земли, как вода, — электроды,
И покорны приказам вождя,
На горах — регулятор погоды,
На полях — регулятор дождя!

Надоело давно краснобайство,
Нам не нужно больное — «вчера»,
Этот мир — просто наше хозяйство
И устроить его нам пора.

Пусть же спокойно-уютно
В городах всех Америк, Россий
Повинуется ежеминутно
Человеку упорство стихий.

В высь метнем бактериологов силы,
Чтоб спокойно дышать мы могли;
Больше нет ни единой бациллы
В атмосфере прекрасной земли!

Медик плачет и ноет сердито:
Медицина прощай и прости —
На земле все болезни убиты,
И спокойно здоровью цвести.

Сделав мелочь, забытую раньше,
— Чтобы путь был удобен и прост —
— На широком и скучном Ламанше
Водрузили завещанный мост.

Чтоб исправить и в прошлом обиды,
Чуть оттаяв ненужные льды, —
Мы приподняли грудь Атлантиды
Из холодного лона воды.

Вместо скуки кирпичного хлама,
Что рассыплется в желтенький прах —
Починили роскошнейший мрамор
На ее золотых площадях.

Пусть стоит весь с домами, с садами
Нами взятый у прошлого дней
Материк, позабытый веками
Пусть стоит, дожидаясь людей.

Пусть стоит он у нас на запасе
В ожиданьи веселых минут,
Надо ж всей человеческой расе
Расселиться в комфорт и уют!

Проложили тоннели сквозь горы,
Нарядили Сахару в цветы,
Осушили болотные поры
Для веселых лугов пестроты.

Силу злых ядовитых растений
Электрическим током точка
Вспухли нивы в химическом плене,
Чтоб погибла в полях саранча.

Состязаются химик и физик,
Инженер, архитектор, поэт,
Чтобы миру в пленительной ризе —
Не сказали б ненужное — нет!

И могучий и гордый рабочий,
Мощью вольной мечты обуян,
Грудь земную машинами точит,
Выполняя прекраснейший план.

И когда вся работа готова
И когда, как игрушка, земля —
Просыпайтесь, живущие, снова, —
В городских площадях и полях!

Пейте все этот мир полной чашей,
Киньтесь пламенно жизни на грудь,
Это путь Революции Нашей,
Это — Биокосмический Путь!

XI.

Не кричите: насилье! насилье!
Не кричите: мы не хотим!
Мы и вам и себе добыли
То, что снилось векам золотым.

Напрасно в прошлом дали
Раздирала войны рука —
Усыпите тех, что мешали—
И работа станет легка.

Убить — это пошло и тупо,
Убить — это значит — пасть,
Мы же кинули в солнечный рупор
Человека безмерную власть!

Убить — не решить задачи —
И отделаться мраком и тьмой, —
Смерть всегда только это значит.
Нам же радостен мир земной!

И когда уже все готово —
Возвращаем мы к жизни всех, —
Для веселого ласк улова
Для потех, чтобы радость и смех!

Спасибо, рука Мороза!
Нами мир гениально расшит.
Любезности Анабиоза
Приносим привет от души!

ХП.

Вот просыпаются города
Снова гулы фабрик и улиц
Снова жизнь цветет молода
Как солнечная яблоня в июле.

Снята минутная угроза —
Холод льдов рассеян, как дым,
Мгновенье — и регулятор Анабиоза
Возвращает движенье живым.

Разносится радость далече,
Для нея — атмосфера тесна,
Земля, как ребенок щебечет,
Уйдя из объятий сна.

Взметнула веселая Лада
Любви полнозвучный потир, —
И вот человечья громада
Опять занимает мир.

Как вены животного — кровью
Так жилы земли текут,
Человеческой ласковой новью
В припрыжку веселых минут.

Себе человечество дарит
Своих же мозгов торжество,
Сегодня — на земном шаре —
Голодного — ни одного!

ХІІІ.

Бессмертье здесь, на земле
Удел человеческий — отныне.
Кто может живому велеть
Растаять в хаоса пучине?

Смерть,
Долой,
В гроба!

Вместе с Богом и рухлядью прочей!
Сомкнут бестрепетный строй —
И тебя за горло, судьба --
Биолог, поэт и рабочий!!

Могучим титанам земли
Не нужен в свершеньях медлительный роздых
Планетные корабли
Готовы немедля лететь на далекие звезды.

Над миром надменно
Призыв зазвучал:
Моряк вселенной,
Отдай причал!

Не срежем победных волос мы
В шаганьи космических миль,
На Смерть! на Бога! на Космос!
На прошлого тусклую гниль!

У природы отнимем излишки
Даль пронижем Мечты иглой
Окончена передышка —
Человечество — снова в бой!

XIV.

Тех, кто хочет трусливо гнуться —
Эта мощь удивит и пронзит,
Вот — Биокосмическая Революция
Единственная, что в веках победит!

Хотите — не верьте иль верьте —
История решит этот спор,
Но мы, победители смерти
Открыли пред вами простор.

Может, те, что сразу устали
Увидя Российский Нэп,
Не знают, что брызнули дали —
Где вечности солнечный хлеб!

И может быть, кажется им
Что ушла Революция в могилу —
Может так, но ее воскресим
И сделаем солнечно-крылой!

.....

Довольно же ждать у разломанных урн!
Идите же все без изъятья,
Мы всех призываем на солнечный штурм!
На штурм Вселенной, братья!

Пусть будет победен, Пусть будет неистов
Наш клич над Вселенною пленной паря,
Грядет Революция Биокосмистов
За Красной Звездой Октября!

Приложения

Александр Ярославский

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

НА ШТУРМ ВСЕЛЕННОЙ

На штурм вселенной, братья!
Нам звезды — корабли! —
Из солнц оденем платья
На плаху плеч земли!
Равняйтесь, легионы
На солнечном плацу! —
Швырнем лучей знамена
По космоса лицу! —
На abordаж планетный!
Штыком мозгов коли!
Земля — станок лафетный
И Солнцем в Солнце — пли!
В комет кривые ромбы
На мировом горбу,
Взорвем земные бомбы
У космоса на лбу!
Вперед! Осада Марса!.. —
Венера уж взята! —
Прыжок земного барса
Мирам не сосчитать!
Мы всюду! — всюду! — всюду!
И Космос нам, — как трек!
Пучин хаоса труду
Искомкал Человек! —
И гимн Биокосмистов
За млечные пути, —
Торжественно-неистов
Восторженно — летит!
И отвечает эхо
Стареющей звезде,
Что скрыто Время — вежа, —
Что мы теперь — везде!
Мозги, как пасть, ощерьте! —
Наш Дух — безмерно прав Ты!

Мы лишь Убийцы Смерти, —
Бессмертья Аргонавты!!!

ЗВЕЗДНОМУ БРАТУ

Мы оседлаем шар земной.
Взнуздаем солнце и планеты.
И будем радостью согреты
В пустыне мира ледяной!
Индус торжественный придет,
На горло белому наступит,
И варвар в смокинге умрет,
И смертью прошлое искушит.
Иных мечтательных культур
Придет пленительная эра.
И лучезарная Химера
Возникнет, как звезда Арктур!
Мы кинем пламенный сигнал
В просторов мировые дали
О том, что радость мы узнали!
О том, что полон наш бокал!
И, если ласковый ответ
Придет в лучах планетных радуг! —
Тогда пойдем, что наша Радость
Оставила вселенский след!
И будут быстры корабли,
Что полетят от мира к миру,
В лучах межзвездного эфира
Гонцами легкими земли!...
И дальше радостным путем!
Путем планетных федераций!
В эпоху звездных пертурбаций
Мы дерзновенно перейдем!
Да здравствует Союз планет!

Ассоциация Вселенной! —
Да будет крепок неизменно
Любви и дружества обет!....
Алмазы вечности горят —
Забудем боль, и скорбь, и муку —
Тебе, Далекий Звездный Брат,
С земли протягиваю руку!

ПАМЯТИ ХЛЕБНИКОВА

(единственному футуристу, с которым мы считаемся)

Изуродованные и сторевшие от кровавого утара
Может пухом вам гноящиеся тернии.
Вот Председатель Земного Шара
Сдох в Нижегородской губернии.
Блещет ожерельями любовница афериста.
Смачно в Москве шантанной стерве,
А по телу единственного великого футуриста
Свеженькие ползали черви.
И не было в природе сногшибательной бури
Пешеходили друг за другом день и ночь.
Обалделый и всклокоченный метался Митурич
И не мог, не умел помочь!
Пусть для смерти замесят покруче клецки
Пусть смерть пожирает тех, кто ей люб —
Вот за трупом поезд посылает Троцкий
И вагоны привозят догнивающий труп.
Живут и сдыхают двуногие убого
И только трупные лизжут бока,
А живому ведь нужно было так немного —
Только хлеба и любви — жил пока.
Но только никто из живущих не охнет
Потому что им гений не нужен живой.

А когда покрутится, попишет и сдохнет,
Подымают кретины запоздалый вой
Великий Хлебников и те, что ушли,
Завещайте нам бессмертье в весеннем конверте!
Ведь мы великолепно гениально учили
Каждую ошибку «Барышни Смерти».
И нас не страшит могильная чара
Бьются солнечной юнью сердец ротаторы —
Мы не только Правительство земного шара,
Мы вселенной администраторы!
Видишь, Хлебников, юных орава
В солнечный набат!; в звездный трезвон! —
Да, мы «стали на глыбу захватного права»,
Себя и своих имен!
Вселенной захватчикам некогда нежиться
На пуховых перинах тоски —
Там, где дряхлое время чуть слышно забрезжится
Там — мы смерть загоняем в тиски!
И где город восстал твердоликий и каменный,
Уж победа близка молодым.
И тебя, наш соратник, истлевший, но пламенный
Мы для новых боев воскресим!

Евгения Ярославская-Маркон

**«КЛЯНУСЬ ОТОМСТИТЬ
СЛОВОМ И КРОВЬЮ...»**

«КЛЯНУСЬ ОТОМСТИТЬ СЛОВОМ И КРОВЬЮ...»

Публикация и примечания Ирины Флиге

Об этой невероятной женщине мы знаем немного. Сохранилось несколько документов и свидетельств, относящихся к четырем месяцам, предшествовавшим приговору и казни, и мемуарная легенда — из вторых рук — о ее казни. Главное о себе она рассказала сама, в своих предсмертных записках.



Евгения Ярославская, дочь профессора-гебраиста И. Ю. Маркона, родилась в 1902 году в Москве (вскоре после ее рождения семья переехала в Петербург), окончила философский факультет Петроградского университета, в 1923 году вышла замуж за поэта Александра Ярославского. Читала антирелигиозные лекции. В 1926-м вместе с мужем выехала за границу, выступала с докладами о Советской России, публиковала статьи и фельетоны в эмигрантских газетах и журналах.

После возвращения в Советский Союз Александр Ярославский был арестован (в мае 1928 года), приговорен к пяти годам лагерей и отправлен на Соловки.

О своей жизни после ареста мужа — торговле газетами, бродяжничестве, о том, как от теоретических симпатий к уголовному миру

она по идейным соображениям перешла к практическому воровству, о высылке сперва в Устюжну, а потом в Сибирь, о бегстве с места ссылки — Евгения Исааковна сама пишет достаточно подробно. Остается досказать совсем немногое.

Добравшись до Кеми, Евгения Ярославская немедленно стала готовить мужу побег из Соловецкого лагеря. За это 17 августа 1930 года была арестована; по совокупности, за собственный побег и за подготовку побега, приговорена к трем годам лагерей. Против Александра Ярославского также было открыто дело о попытке побега.

Отбывать наказание Евгению Ярославскую направили туда же, на Соловки, где она содержалась в женском штрафном изоляторе на Большом Заяцком острове. Тем временем Александру Ярославскому был вынесен приговор: расстрел.

Как правило, такие приказы зачитывались на всех лагпунктах и командировках Соловецкого лагеря. О первой реакции Евгении Исааковны на известие о судьбе мужа — см. публикуемое здесь обвинительное заключение; отметим лишь, что не вполне ясно, был ли он к этому моменту уже расстрелян (по некоторым данным, приговор был приведен в исполнение лишь 10 декабря 1930 года). Однако Ярославская восприняла сообщение о расстреле как свершившийся факт. Иначе она вряд ли повела бы себя так, как описано в документе, опасаясь усугубить участь Александра Борисовича. Об этом же говорит и попытка самоубийства сразу после зачтения приказа.

Почему именно в ноябре начальник Соловецкого лагеря Д. В. Успенский решил посетить штрафной изолятор на Большом Заяцком острове? Возможно, это была «плановая» поездка; но, зная из многочисленных источников о характере и привычках тогдашнего хозяина Соловков, мы не можем исключить, что помимо прочего ему было интересно посмотреть на жену приговоренного к смерти поэта. Если так, то его любопытство было вполне удовлетворено.

После «покушения» на Успенского Ярославскую перевели в карцер, где она, по-видимому, и оставалась до самого конца. Следствие закончилось в феврале 1931 года, но лишь 10 апреля дело было рассмотрено выездной сессией Коллегии ОГПУ. А приговор был приведен в исполнение спустя еще два с лишним месяца. 20 июня 1931 года Евгения Исааковна Ярославская-Маркон была расстреляна на Секирной горе. Успенский лично принял участие в казни.

В штрафном изоляторе она сначала выпускала рукописный листок «Газета Урканская правда», щедро используя в нем ненорма-

тивную лексику и уголовный жаргон, а затем в карцере начала писать автобиографию.

Текст «Моя автобиография» — тридцать девять страниц, исписанных плотным, убористым почерком, — публикуется по оригиналу, содержащемуся в архивно-следственном деле. При подготовке к публикации были сохранены основные особенности авторской орфографии и пунктуации, которые, на наш взгляд, придают рассказу дополнительную яркость и индивидуальность.

Формально это действительно процессуальный документ, автобиография подследственной Е. И. Ярославской-Маркон, и именно в этом качестве данный текст приобщен к следственному делу. Фактически же «Моя автобиография» представляет собой развернутые записки мемуарного характера. Мы полагаем, Евгения Исааковна ясно осознавала, что записки эти — предсмертные.

Сегодня, спустя три четверти столетия, нам представляется важным дать ей сказать «последнее слово», которого она была лишена и во время суда и перед казнью.

Ирина Флиге

МОЯ АВТОБИОГРАФИЯ¹

Предупреждаю: — не удивляйтесь и не смущайтесь моей откровенностью. Я вообще убеждена, что откровенность всегда выгодна человеку, ибо как бы черны не были его поступки и мысли, они все же значительно светлее чем то, что о них и без того предполагают окружающие... Я еще в детстве всегда думала — как бы хорошо, если бы я сама, да и все остальные люди — были прозрачные, ну, как стеклянные все равно, и сквозь стеклянную коробочку насквозь были бы видны все наши мысли, желания, истинные мотивы наших поступков; тогда всякий видел бы другого так, как тот думает

сам о себе; а ведь любой из нас о себе далеко не плохо думает!..

Еще предупреждаю, что пишу эту автобиографию не для вас, следственных органов (если бы она только для вас нужна была, то я бы ее вообще писать не стала!..), — просто мне самой хочется «заснять» свою жизнь на бумаге, а бумаги, кроме как в ИСО, мне достать негде (бумага из нашего Союза исчезла — недаром «производство возрождается, и хозяйство налаживается»). Пишу для себя. Писать, искажая действительность, неинтересно. К тому же мне и терять нечего. Вот почему я откровенна.

Родилась я 14-го мая 1902 года в Замосворечье, на Большой Полянке. Росла под углом трех «равнодействующих» сил: — 1) Влияние отца — научного работника (филолога и историка-гебраиста), человека скорее западно-европейского, нежели русского, склада, любящего и в жизни и в своей науке — все конкретное, мелочно-детальное, бытовое². Глаза его обращены в средневековье, но отнюдь не в мистическое средневековье медиэвистов философского склада, а в бытовое средневековье (так, например, любимой темой лекций моего отца является «Средневековые еврейские путешественники») — притом средневековье позднее, с привкусом возрождения и реформации. От отца — моя любовь к этой же эпохе, моя любовь к науке вообще — не сухое стремление к знанию и к приложению знания к жизни, а любовь к науке, как к чему-то красочному, образному, к тому же давно знакомому, родному, почти семейному... От отца же я унаследовала насмешливое и смешливое направление ума; вернее всего этому я обязана тем, что изучая философию, избегала туманов метафизики и облюбовала себе области точные, четкие: логику и теорию познания. Еще унаследовала я от отца наблюдательность, любопытство ко всякой психологии и ко всякому быту (это отчасти и привело меня впоследствии к социальным экспериментам, к желанию изучить и освоить быт «шпаны», но только — отчасти...).

Вторая «равнодействующая» — влияние братьев и сестер моей матери. Это была семья революционно настроенной

интеллигенции, деятелей 1905-го года, мелких, честных до отказа, принципиальных до глупости, идейных до близорукости, — политических работников. Под их влиянием я стала мучительно стыдиться спокойной сытости родительского дома, — стыдиться того, что не пришлось мне испытать голода и нужды, а особенно стесняться того, что расту я эдакой «маминой дочкой», прикрытой ото всех непогод, да береженной (а берегли меня непростительно: — до четырнадцатилетнего возраста одну на улицу не пускали и даже в гимназию до четырнадцати лет провожала меня бонна!); и вот я все мечтала как бы это хорошо — жить в сыром подвале, как дочь прачки в нашем дворе, носить платочек вместо шляпки (шляпка — «каинова печать» буржуазного происхождения), бегать босою и с полудетских лет работать на фабрике... То, что, выросши, стану я революционеркой-подпольщицей, было для меня делом заведомо решенным; но еще слаще была другая мечта — сокровенная: отрешиться от всего интеллигентского, — даже от образования отрешиться, — бросить ученье, бросить родных и уйти навсегда на фабрику простой работницей и даже замуж выйти не за интеллигента, не за революционера-вождя, а не иначе как за простого рабочего... И ушла бы я на самом деле из дому, да отца с матерью больно жалко было — я у них только одна.

Третья «равнодействующая» из направивших мое воспитание сил, — влияние бонны-немки, воспитывавшей меня с трехлетнего возраста. Это ее бюргерское добросовестное прямодушие и явилось родоначальником моей откровенности, которая многим кажется наивной болтливостью (может быть, эти «многие» и правы!...). Эта же старушка немка сумела привить мне любовь к природе, проникновенную нежность к старине, и даже — странный в уроженке Москвы, каковою я являюсь — патриотизм ко всему немецкому. Немецкая литература, немецкий язык, природа Германии, немецкий Рейн — до сих пор наполняют меня умилением. Даже Гогенцоллерновская монархия никогда не была мне столь противна, как монархия Романовская... И, наконец, кончая тем, что воспитывала меня ста-

рая дева, — объясняется то, что за всю жизнь свою я никогда не умела одеться со вкусом и изящно; даже самые «нежно-девические» свои годы ходила в одежде необычайно прочной, перешитой из маминых платьев, несколько топорной и неуклюжей и, с умыслом — старомодной. Одежда всегда стояла у меня на самом последнем плане и не только культурные интересы, как например литература и искусство, но даже просто — вкусная еда, интересовали меня и интересуют неизмеримо больше, чем самые эстетические <нрзб.> тряпки.

Просто ребенком была я до шести лет... Между шестью и двенадцатью сформировались три первые мои идеи, — с двумя последними из них я так и не расставалась на всю жизнь. Первая идея — вегетарьянство; вторая идея — абсолютный эгоизм («даже жертвуя собою, человек делает это ради себя, чтобы избегнуть страданий и доставить себе, хотя бы на минуту, наслаждение сознанием своего героизма»...). Много позже, лет через 10-12 после того, прочла свои взгляды у Штирнера³, который раньше мне как-то не попадался. Третья идея — идея всеобщей безгрешности, безответственности, неповинности людей в своих поступках: — сцепление причин, зависящих от всей совокупности мира, и не зависящих ни от кого в отдельности, — создают характер каждого человека, из которого, при столкновении с определенными обстоятельствами, с неумолимой неизбежностью вытекают, не могут не вытекать, — именно те, а не другие обстоятельства. Так называемый — «подлец» также мало виноват в том, что наследственность, среда, и даже как бы — «случайные» — превосходящие обстоятельства, — вроде какого-нибудь толчка, полученного его матерью во время беременности, или мимолетного впечатления от подслушанного в раннем детстве разговора совсем посторонних людей, — в общей сложности сформировали его «подлецом», — как не виноват печатный лист, по какой-либо причине вышедший из-под типографской машины — «браком»... Брак приходится изъять, иногда даже уничтожить, но разве можно винить его?! — Эту занозу всепрощенья я ношу в себе и в настоящее время

и, ненавидя систему, например, — вашу «советскую» систему, никогда не переношу свою ненависть на людей. И если бы я увидела, тонущего при купаньи, чекиста, то, не задумываясь, протянула бы ему руку для спасения, — что, разумеется, не мешает мне того же самого человека, когда он находится при исполнении служебных обязанностей, — пристрелить как собаку (или — как чекиста. Это ведь одно и то же). Грязная тряпка не виновата в том, что ею вытирали уборную, но когда грязная тряпка лежит слишком на виду, — ее приходится выбросить на помойку!..

Год от 12-ти до 13-ти лет в моей жизни был пустым годом. Это единственный год, в который я себя не узнаю. Всю свою жизнь и до и после я была правдивой, на мое честное слово, еще когда мне 3 года от роду было, — мать как на каменную гору надеялась, — а тут в 12 лет я вдруг стала крайне лживой, лицемерной, да к тому же и пустышкой: — идеи мои, которыми я до тех пор жила, — стали меня интересовать лишь с точки зрения как бы ими перед кем-нибудь порисоваться, а на самом деле думала я теперь уже не о них больше, а только о мальчишках...

Через год, тринадцати лет, я окончательно, с вдохновенной искренностью влюбилась в идею революции. Это увлечение настолько напоминало любовную страсть, — что, когда при мне кто-нибудь случайно говаривал о революции, — я краснела и смущалась, совершенно так же как мои подруги, когда при них кто-нибудь невдомек коснется избранного кавалера... А жиденький хор, нескладно тянущий «Дубинушку», вызывал во мне сладкую дрожь, какую испытывает современная нэпманша при исполнении сладострастного фокстрота... В этом возрасте начала я читать Плеханова, — не без скуки, правда. Но принуждала себя: — без этого не станешь начитанной пропагандисткой.

Училась я в гимназии не плохо, хотя и с ленцой. По географии, естествознанию, немецкому, русской литературе, истории — училась хорошо; хуже всего преуспевала по правописанию и до сих пор не научилась писать вполне грамотно, без ошибок. Пишу безграмотно на всех 4-х языках, которыми владею: — русском, немецком, французском и

древне-еврейском. Кроме того, славилась я на всю гимназию плохим поведением, причем вела себя странно-плохо: — не шалила, как другие дети (до шалостей ли тут было, когда на уме — одна революция! Я и в учении была рассеяна; — сидишь, бывало, алгебраическую задачу решаешь, а в голове рабочие массы кружатся. Ну, как тут не ошибиться, — вместо плюса минус не выставить, и вот уж — вся задача не сходится!..), — итак я шаловливой не была, далека я также была от половой распущенности, которая в женских гимназиях часто именуется «плохим поведением», — нет, просто я сама себе вменила в обязанность быть как можно дерзче с гимназическим начальством, никому не покоряться, а за каждую гимназистку заступаться — «горой стоять!» Я олицетворяла так: — начальство, педагоги — власть, гимназистки — угнетаемые массы... олицетворение детское, до глупости наивное, глубоко неправильное, особенно если принять во внимание, что гимназия у нас была частная, дорогая, — гимназистки все больше из буржуазных семей — преподаватели же и самая начальница, наоборот, являлись лучшими представителями передовой трудовой интеллигенции... Так, или иначе, — я доигралась все же до того, что в ноябре 1917 г., уже при Соввласти, меня исключили-таки из гимназии «за бузатерство», принявшее совершенно нелепое, действительно несуразное направление... Впрочем, исключение из гимназии пошло мне на пользу. Дело в том, что исключили меня из 6-го класса, и тут-то я, принатужась, за оставшуюся половину учебного года — от ноября до мая — подготовилась и за 6-ой и за 7-ой класс, в мае сдала экзамен, а осенью, — шестнадцати лет от роду поступила в «3-ий Государственный Университет» (бывш. Бестужевские «курсы».) Я совсем забыла упомянуть, что росла я и в гимназии училась не в Москве, а в Ленинграде, где поселились родители после моего рождения. В Москву же мы ездили каждый год на лето к маминим родным...

Теперь опишу, как встретила и провела я самую революцию. Как я уже говорила, до 14-ти лет, без провожатого (бонны или еще кого-нибудь) меня на улицу не пускали, —

теперь же в февральские дни 1917 г. я, пользуясь всеобщей суматохой, попросту сбежала из дому, — пошаталась и покричала: — «палачи!» — под холостыми выстрелами на углу Невского и Садовой и вернулась домой так скоро, что моего исчезновения дома даже заметить не успели.

На другой день я опять сбежала, с самого утра... Возле Литовского замка, из которого еще накануне выпустили всех политических, — беспомощно копошились, как наседки, две женщины, — по-видимому жены уголовных... Из верхнего окна тюрьмы выпорхнула записка и села на землю. Записка следующего содержания: — «...Надзиратели все разбежались... Сидим второй день не емши... Помогите нам, освободите нас!..» и трогательная приписка из Некрасова: — «Иди с обиженным, иди с униженным — по их стопам; где горе слышится, где тяжко дышится — будь первый там...». Я тотчас же побежала за помощью в «район». Там мне ответили, что политических уже выпустили, а «выпустить уголовных мы не можем». Тогда я бросилась в военные казармы, зовя солдат на помощь. Через скорое время солдаты пулями пробили ворота Литовского замка, а мы — толпа — хлынули внутрь и струйками растеклись по камерам. Помню, как я, первая, вошла в темный карцер. Как только я вошла, мне на шею бросился высокий плечистый арестант с большой белокурой бородой и светлыми-светлыми голубыми глазами. Помнится, я еще тогда подумала: «Наверное, убийца: — у воришки, у мошенника, у мелкого преступника — не может быть таких ясных, таких до святости открытых глаз...» А арестант все вздрагивал у меня на груди, плакал от радости и трепетно стонал: — «Опомнитесь, опомнитесь дайте, родные!».

Совсем иначе реагировал на непрошенную свободу какой-то воришка: — «Эх!» — досадовал он, — «совсем недолго досидеть оставалось», — так бы я свою одежду отобранную назад получил бы, а теперь приходится в казенном халате идти!» — Впрочем он вознаградил себя тем, что собрал все одеяла с ближайших коек в 4 больших узла, из которых 2 я помогла ему донести, за что он на прощанье, с гостинодворской галантностью, чмокнул мне руку!

Тем временем дома меня хватились, когда я вернулась — поахали, и неожиданно быстро <смирились> с такой моей самостоятельностью. С того дня стала я одна на целые дни уходить из дому и никто даже не спрашивал куда и зачем... Тою же весною в Москве, гостя у бабушки, записалась я в «Объединенную Социал-демократическую партию», где выполняла техническую работу: — дежурила в районном комитете, разносила по заводам социал-демократические газеты и продавала их в Хамовниках. — «Видно, мода новая пошла барышням газеты продавать!» — ехидничали бабы. Господинчики «зловредным» взглядом посматривали на заголовки моих газет.

Рабочие весело и сочувственно покупали... Подозвал какой-то армянин: — «Ны за што бы ны взал: — ны два слова по-русски читать не уем!.. Только для тэбэ, барышна, куплю; — больно тэбэ глаз красивый, черный!..»

Переезжая осенью из Москвы обратно в Ленинград, я механически выбыла из организации. Октябрьская революция мне понравилась еще гораздо больше чем февральская. Февральская, как бы говорила на каждом шагу: — «Позвольте, — я — девушка честная!!..» Октябрьская же сразу заголилась: — «Смотрите, мол, все, что у меня есть!.. И у вас такое же — не ломайтесь!.. Хочу и больше — никаких!..» (Примечание для туповатого сотрудника следственных органов: это литературная метафора. Е. Яр.)

В это время я начала голодать, — жила принципиально на пайке, хотя достать у спекулянтов можно, и большинство хоть понемножку, а покупали — жить на «осьмушке» не шутка; а тут еще усиленная подготовка к экзаменам за гимназию, да еще одновременно поступила я в драматическую студию пролеткульта.

Сделалась я от голода желтая, костлявая и старообразная, как угодница со старинной иконы, но главное-то, что голод имеет одно свойство: — он умертвляет «дух» гораздо надежнее, чем вериги умертвляют плоть. В борьбе «духа» с плотью — победа обоюдная; «дух» может только запретить плоти: — «Не смей! Вот ни кусочка больше не получишь чем я позволю!..» И плоть повинуется, постится, но за это

жестоко мстит «духу»: — «А ты вот ни о чем, кроме меня, не подумаешь, не сможешь подумать, — все мысли твои отныне обо мне!..» — Так было со мной, — я добросовестно голодала на пайке, но мысли мои были уже не о революции, не о пролетариате, а о хлебе, горячем, тяжелом, вкусном, — о картошке, нежной и рассыпчатой, о круто сваренном пшене... От голода стала я прихварывать каким-то странным желудочным заболеванием, но не отступала: — ведь кто-то голодает!.. А между тем идеи, доведшие меня до добровольного голода, делались мне все более противными... И думалось: — если так трудно голодать мне «с идеей в прикуску», то что же должен сказать голодающий обыватель, для которого голод не прикрашен никакой идейностью, который попал во всю эту революционную дрянь, как «кур во щи»!.. И тут я плюнула на все, стала (правда не без стыда и угрызений совести, — особенно в начале) — есть не по норме, сколько только могли предоставить мне родители, старавшиеся подкормить отощавшую дочку... И из Пролеткультовской студии ушла, именно потому, что Пролеткультовская. Сообщаю своему непосредственному начальнику-режиссеру:

— «Я из студии ухожу...»

— «Это почему?»

— «А потому что я разочаровалась во всем этом... — коммунизме!..»

— «Ну, что же? — По крайней мере откровенно!..» — пожал плечами режиссер.

С осени я стала посещать «Бестужевские». В это же самое время отец мой, бывший до революции ученым библиотекарем (будучи евреем, он не мог в царской России добиться профессуры), — получил, благодаря новому режиму, — кафедру при тех же самых Бестужевских Курсах, уже переименованных к тому времени в 3-й Государственный Петроградский Университет. Бывало, идем мы с отцом вместе в Университет, я — слушать лекции, он — читать... Сдружились мы с ним в это время, как ровесники, как братишка с сестренкой, и все интересы у нас с ним стали общие: я изучала средневековую историю и гер-

манскую литературу, и также, как и он, жила не <в> настоящем, а в прошлом. Его, как и моей территорией были две эпохи: 1) позднее средневековье и 2) эпоха немецких романтиков 19-го века. Гейне, Гофман были для меня вполне современниками, — моими современниками.

Однако от истории скоро отшатнула меня хронология, а от филологии — лингвистика; а тут как раз пришлось мне готовиться к зачетам по философским предметам: логике и психологии. У меня с детства голова более всего лежала к философским проблемам, но от поступления сразу на философское отделение отпугнуло представление о философской науке, как о чем-то туманно-мистическом, неопределенно-расплывчатом — она для меня ассоциировалась с теми «интуитивистическими», «теософскими» и прочими направлениями, процветавшими, например, в «Вольфиле»⁴, которые всегда оставались мне чужды... А я люблю во всем четкость: — «да», так — да; «нет», так — нет; «не знаю», так — не знаю. И вот это-то как раз нашла я с восторгом в несравненных, гениальных учебниках Введенского⁵, по которым пришлось мне готовиться. Это была отчетливая, строго последовательная система: — «не знаем! — никогда не будем знать! — не можем знать!» — яснее и толковее чем у самого Канта изложенное «Кантианство», подкрепленное незыблемо-уточненным логицизмом самого Введенского. Я перешла на философское отделение (которое и окончила весной 1922 г., причем кончала его уже не при 3-ем, а при 1-ом Государственном Университете, к которому присоединился наш — 3-ий) и стала благоговейной ученицей тогда еще живого Александра Ивановича Введенского.

Учиться на философском отделении было легко, все нужно было брать не на память, а на понимание... В эту же эпоху моей жизни горячо увлекалась я домашним хозяйством; после недавно перенесенного голода самый процесс приготовления еды казался необычайно привлекательным; вид, блестящей разнообразием, снеди — заманчивее самоцветных камней; к тому же во всей нетопленной квартире плита была единственным местом, возле которого

можно было вполне отогреться. Еще сочиняла я стихи, в которых призывала трусливых обывателей сбросить, наконец, с себя «ярмо низких и злых палачей» (подразумевались, разумеется, большевики); стихи — по форме крайне слабые и неудачные, но, по содержанию, еще и теперь, право, вполне своевременные!.. Около этого же времени развернулись «Кронштадские события»... Я, облизываясь как кот на масло, следила за ними издали...

Руки и душа чесались принять активное участие в Кронштадском мятеже, — ведь это был не какой-нибудь пошленький белогвардейский заговор, — тут была подлинная, а не отупевшая от власти большевистская, — революция, и подняли ее, Кронштадскую, те самые, кто в свое время сделали Октябрь, — балтийские матросы. К сожалению, у меня в то время не было знакомств среди серьезных анархических и эсеровских кругов, и мне пришлось ограничиться пропагандой в студенческих кругах и предвыборной (перед выборами в Советы) антибольшевистской пропагандой... Помню, как я на одной из университетских сходов косноязычно (я еще тогда плохо умела говорить с трибуны, — позднее, от Александра Ярославского⁶ научилась) — доказывала всю половинчатость чисто-студенческого движения:

— «Одно из двух, — говорила я, — или смиренно работайте в своих культурно-просветительных организациях или, если чувствуете в себе силу для настоящей борьбы, идите туда в самую гущу, — агитируйте не среди студенчества только, а среди общих широких масс!..» — Тут я почувствовала как знакомая студентка-меньшевичка энергично одернула меня за рукав...

Я, конечно, уже тогда понимала, что революция — в Кронштадте, а контр-революция — в Смольном, а не наоборот. Самое понятие — застывшей в победе революции — также нелепо, как понятие — остановившегося движения: — раз остановилось — значит, уж не революция! Ведь революция по самому понятию своему есть «движение, направленное к ниспровержению существующего строя».

Какой бы то ни было существующий строй, даже самый прогрессивный — никак не может быть революционным, ибо он стремится сохраниться, а не низложиться... В силу этого же самого, всякая партия, поддерживающая победивший в данной стране порядок, — в том числе и В.К.П. в России — является уже не революционной, а консервативной. И так коммунизм в настоящее время революционен во всем мире, кроме С.С.С.Р. и только в нашем союзе он вполне консервативен, а между тем, даже самый черносотенный заговор у нас в Советской России несомненно революционен, ибо стремится к низвержению существующего строя... Это было бы так, даже если бы Советская Власть была бы действительно социалистической, а мятеж против нее был бы, ну хотя бы монархическим; но на самом деле, как мы знаем, Кронштадтский мятеж был не только революционен по отношению к Соввласти, но и по идеологии был значительно левее, последовательнее и честнее ее. Потому-то Соввласть так испугалась его и кроваво его усмирила!.. Тем самым советская власть стала уже не только консервативной, но еще к тому же контрреволюционной.

И так ни одно государство в мире не может быть революционным, по самому понятию своему. А между тем всякая революция всегда права, ибо она всегда стремится восстановить поправную справедливость, которая, впрочем, никогда не восстановится, — просто палку на неопределенный срок перегнут другим концом, и это уже хорошо: — битый отдохнет, бьющий почувствует на себе удары, а там — опять перегнется, и т. д. Мир диалектичен, отрицающее и утверждающее начало — 2 части одной логической системы; точно так же революция и государство — 2 половины одной системы бытия. Обе правы, обе неизбежны, обе необходимы. И всегда будут существовать люди государства: — жандармы, гепоушники, полицейские, прокуроры, наркомы и т. <ому> под <обные>. Они по самой профессии своей не могут стать людьми революции (они могут стать ими, лишь переменяв профессию). Их всегда будет поддерживать тот или другой класс...

Но кто же люди революции? — ясно, — лишь тот класс, который никогда не может встать у власти. Таким классом является лишь lumpen-пролетариат, действительно, участвующий во всех революциях и мятежах и сразу остающийся не у дел, как только поддерживаемое им движение побеждает... Преступный мир составляет основные кадры людей революции. Добавочные к ним — вечно «бузящая», озорующая — литературно-художественно-артистическая «богема» и еще профессионалы революции: — подпольщики-террористы и подпольщики-экспроприаторы, а также вообще наиболее непримиримые группы подполья: — анархисты и максималисты... Точно так же, как государство всегда поддерживается тем или другим классом, — и революция в ту или иную эпоху поддерживается тем или иным классом. Но класс может из революционного стать государственным (например, французская буржуазия) и наоборот, — основной же класс революции (ворье... шпана) стать государственным не может, точно так же как не может основной класс государства (чиновники, военные) стать революционным, а может лишь перейти от службы одному режиму на службу другому режиму. (Здесь я под «военными» подразумеваю спецов, комсостав, а не временно призванных солдат.)

Итак, резюмируя все: — государство и революция две чашки весов, постоянно стремящиеся перетянуть друг друга и в то же время совершенно бессмысленные одна без другой...

Однако возвращаюсь к своей автобиографии. В 1922 году я наскоро окончила университет, — учиться и учиться уже утомило, исполнилось мне 20 лет, — просто и откровенно хотелось замуж...

Хотелось полюбить человека всеми помыслами, без остатка, — ласкать его, стряпать ему обед... В это время мною интересовался один, довольно крупный ленинградский (тогда еще петербургский) — спекулянт; мне нравилась в нем смелость, рисковость, отчаянность — как только ускользал от Чеки человек?! — То, что он был спекулянт, ничуть не отталкивало меня, наоборот: — ведь он рисковал голо-

вой, ежеминутно мог пойти под расстрел и, значит, имел столько же права на прибыль, как вор, как бандит... Спекулянт эпохи военного коммунизма это совсем не то, что какой-нибудь измельчавший потомок Ротшильда, жиреющий на готовом... Еще немного и я бы, вероятно, полюбила бы этого спекулянта, но тут совершенно случайно на вечере «биокосмистов» познакомилась я с Александром Ярославским, прибывшим из Москвы в Ленинград с вечерами и лекциями, имевшими в Ленинграде шумный, с небольшим пикантным привкусом скандала, — успех. Комитет поэзии «биокосмистов» был литературной организацией, возглавляемой Александром Ярославским. Биокосмизм — литературное направление... Когда я в первый раз увидела Александра Ярославского, он мне напомнил большого (по размеру), но еще совсем маленького (по возрасту) котенка, и захотелось мне в душе пригласить его необыкновенно пушистые, мягонькие-мягонькие, каштаново-бронзовые кудри; — захотелось непременно еще раз увидеть его лукаво-печальные карие глаза... Но полюбила я его постепенно — с каждой встречей все больше, а по настоящему мы оба полюбили друг <друга> уже после брака, с каждым годом, с каждым днем совместной жизни — все больше и крепче... Александра Ярославского можно не полюбить — не всякому дано оценить его, но разлюбить его невозможно... Гениальный, хотя и шибко шероховатый талант, — всеобъемлющая мудрость, полнейшее отсутствие внутреннего лицемерия, великолепнейшее презрение к так называемому «общественному» мнению — вот черты его души. Дороже всего ему — космос, стихия, ритм... Всегда прислушивающийся к своей творческой фантазии, к своей внутренней мозговой радиоантенне, чутко настроенной на радио-волны вселенной, — он досадливо морщился на каждый посторонний звук, не любил, чтобы сбивали настроения, — и потому казался многим заносчивым, неуживчивым, капризным... Но неприветливый к случайным гостям, он чутко отзывался на всякое несчастье и всякому нуждающемуся помогал. О нем можно сказать, что он принимал людей «по одежке»: — чем хуже одет человек, тем

— задушевнее; чем прилизаннее, богаче — тем отталкивающее.

Наша с ним любовь друг к другу — любовь двух играющих вместе детей, любовь матери и сына, любовь отца и дочери, и — великая дружба двух друзей-соратников; мы никогда не имели тайн друг от друга, — даже самое сокровенное, иногда просто мелкое, порою — стыдное, — друг другуверяли... Вместе читали мы лекции (я бывала докладчицей) на литературные и антирелигиозные темы. Антирелигиозные свои диспуты со священниками мы проводили почти искренно: — с искренним убеждением разбивали все доводы противника в пользу идеализма и бытия божия, — благоразумно умалчивая о том, что совершенно также недоказуем, хотя и неопровержим зато — материализм... И любила же я эту нашу скитальческую, творческую, любовную — жизнь, описанную Ярославским в двух его романах: — «Бродячий Лектор» и «Семь Дней Творения Любви».

Лекторские гастролы по всему Союзу: — Мурманский край, Ташкент, Урал, Поволжье; — поезда, пароходы, мягкий и вкусный санный путь — эх, — об этом бы писать и писать!..

А бессонные, непостижимо-прекрасные для того, кто не испытал, — творческие ночи, когда он диктовал мне свои произведения... Творил он совершенно иррационально, исключительно по настроению; больше всего он любил творить ночью, когда печка в комнате топится; отвернется, бывало, к печке, закроет глаза руками и диктует, диктует, словно прислушиваясь к чьему-то голосу — голосу стихии — голосу внутреннего ритма ли? — Я уже упоминала как он любил тишину, безмолвие, этому настроению посвящено стихотворение его «Пауза», имевшее большой успех за границей, переведенное на немецкий и английский языки... Нужно было пережить, чтобы постигнуть все наслаждение нашего совместного творчества, то есть творил, собственно говоря, один он, я исполняла чисто техническую роль, выстукивая на машинке, но он меня вводил за собой в свое творчество... И все-таки, несмотря на нашу дружбу, на прожитые в любви восемь лет, — только теперь оценила

я до конца эту удивительную личность (до конца ли?), — только теперь моя любовь к нему достигла своего кульминационного пункта, теперь, когда...

...В 1923 г. (в марте), прожив с Ярославским ровно три месяца, — попала я под поезд и мне пришлось ампутировать ступни обеих ног, — событие настолько для меня ничтожное, что я чуть было не забыла о нем упомянуть в своей автобиографии; в самом деле, — что значит потеря нижних конечностей, по сравнению с такою большою любовью как наша, — перед таким всеослепляющим счастьем, как наше?!

В 1926 г. поехали мы за границу. Там А. Ярославский организовал (сам, с помощью антрепренера, — никакая организация — ни советская, ни эмигрантская — не принимали в этом участия) большую лекцию — диспут на тему «Правда о Советской России».

Основная идея его доклада была: — не «социалистический рай», — не «большевистский ад», — обыкновенная капиталистическая страна, вот что представляет собою Советская Россия в настоящее время (в 1926 г.). С наболевшею писательской горечью критиковал докладчик тяжелый цензурный «прижим», давящий и придавивший литературу и поэзию Советской страны. Критиковал он также (правую — в тот момент) крестьянскую политику Цека.

Аудитория была несколько разочарована: — ждали очередных сенсаций и разоблачений, — «подвалов Чеки» и «истязаемых младенцев»... — «Чье имя наиболее популярно в настоящее время в России — Николая Николаевича или Кирилла Владимировича?»⁷ — поступила после доклада записка публики. Ошарашенный Ярославский поспешил разъяснить, что Россия вообще мало думает о беспризорных монархах, что она занята гораздо более серьезными и насущными вопросами, что к тому же идея монархии скомпрометировала себя навсегда, — но тяжелое впечатление от записки осталось: — «Я начинаю жалеть о сегодняшнем докладе, — говорил он мне в тот же вечер, как только мы вернулись домой. — Сделанного уже не поправишь... Зачем, зачем говорил я перед этой сволочью?... Ко-

нечно, все социалистическое в России рассосалось!.. Конечно, писателю в ней жить невозможно: — цензура давит прямо как какой-то “испанский сапог”!.. Все это так... Но все это можно и должно говорить перед своими, а не перед врагами... А для меня свои все-таки большевики: — хоть сволочь, а своя сволочь!..»

Доклад этот состоялся осенью 1926 г. в Берлине в помещении «Logenheim»-а; какой-то недоделанный коммунист из торгпредства под веселый смех аудитории заплетающимся языком доказывал, что в Советской России — электрификация и вообще «мы идем к социализму»...

Я выступала содокладчицей Ярославского, и, если он говорил больше всего о положении Советской Литературы и о крестьянском вопросе (все время подчеркивая, что в аграрном вопросе, разумеется, никакого поворота к старому, дооктябрьскому, быть не может, что будущее за середняцким крестьянством и что оно имеет все права на это будущее), — то я посвятила свою речь главным образом нелепости и подлomu лицемерию карательной политики большевиков, направленной вовсе не против контр-революции и классового врага, а против лумпенпролетариата, против мелкого, самого обездоленного босячества (между прочим, стенографическая запись этого моего содоклада, сделанная в Берлине секретным сотрудником ГПУ, — имеется в Москве, Лубянка 2, при деле Александра Ярославского).

Второй наш доклад о Советской России был сделан в Берлине, в помещении «Safe Leon», в партийном клубе меньшевиков. В начале своего доклада Александр Ярославский подчеркнул, что сам он не меньшевик, и даже не анархист, если можно так выразиться, — «анархистствующий литератор»...

Первоначальное впечатление от меньшевиков было у Ярославского благоприятное... Особенно умилили его... штаны т. Юдина⁸. Зашел Ярославский в редакцию «Социалистического Вестника» и, вернувшись домой, говорит мне: — «Смотри, ведь это не то, что прилизанные господа Гесены: — повернулся Юдин книгу какую-то достать, а брюки у него — с заплатой!.. Может быть, он, и правда, социа-

лист...» — Позднее приглядевшись ближе к Берлинско-российским меньшевикам со всем их брезгливым лицемерием, Ярославский разочарованно говорил: — «Штаны меня в заблуждение ввели!.. У меня, было, мелькнула мысль, что он, возможно искренившийся социалист, если ходит в старых брюках; теперь сильно подозреваю, что он — сволочь — просто где-нибудь случайно на гвоздь сел!.. Приеду в Россию и, если не расстреляют, — непременно напишу фельетон под заглавием „Штаны меньшевика“!..»

Кроме своего известного Г.П.У. и широкой публике, — «открытого письма в Цека партии и наркому Луначарскому», а также не менее известной, — полемики с Емельяном Ярославским, — Александр Ярославский напечатал в Берлине свои «Маленькие рассказы» и несколько стихотворений.

Кроме того он напечатал в Берлине книжку своих стихов «Москва-Берлин», проникнутую тоской по Советской России. Затем мы оба сотрудничали в телеграфском агентстве: — «Asien — Ost-Europa-Dienst». Поместив сгоряча в «Руле» свои открытые письма: — «...К наркому Луначарскому» и «...К Ем. Ярославскому», — Ярославский долго мучился тем, что эти наболевшие письма появились первоначально в «Руле», и решил больше не иметь с «Рулем» никаких дел... Я же, наоборот, все время сотрудничала в «Руле» в качестве постоянной фельетонистки, под псевдонимом «Г. Светлова». Из серии моих фельетонов, объединенных под заглавием «По городам и весям», — упомяну здесь несколько: — «Интервью с Астраханскими карманниками», «Русский Багдад — Ташкент»..., «Трактир». В них я гнула свою все ту же босяцкую «блатную» линию...

Ярославскому я доказывала: — «Важно содержание моих фельетонов, а вовсе не то, где именно они появляются. И вообще что за интеллигентская чушь!.. Что такое литератор? — спец художественного слова, квалифицированный рабочий словесного цеха... Как и всякий рабочий, литератор работает на предпринимателя-издателя, под присмотром старшего мастера — редактора... До убеждений последних двух ему нет никакого дела, как нет дела рабочим до

убеждений фабрики. Почему винить сотрудника буржуазной газеты в измене классовой линии, и не винить в том же наборщика, который ее набирает?! — Ведь если последовательно продолжить рассуждения тех, кто осуждает сотрудничество в буржуазной прессе, то получится, что еще гораздо более опасные предатели рабочего класса и фашисты — Крупские рабочие, — ведь они работают на фашиста — Круша и из их пролетарских (быть может, даже коммунистических) рук выходит оружие для империализма!..»

Упомянув о «Руле», замечу еще, что газета эта прекрасно информирована обо всем, что творится в Советской России. Вообще: — хочешь знать правду о капиталистических странах, — читай советскую прессу! Хочешь знать, что творится в Советском Союзе, — читай — «Руль»!.. Иногда, правда, «Руль» несколько предвосхищает события: — еще раньше чем в России наступит тот или другой очередной кризис, «Руль» в панической передовой сообщает о нем как о наступившем факте; — но не было еще ни одного случая, чтобы через самый кратчайший срок в С.С.С.Р. на деле не наступил возвещенный преждевременно «Рулем» кризис... Можно подумать, что наш союз стыдится не оправдать того мнения, которое создал себе о нем Иосиф Владимирович Гессен...⁹

...С самого первого своего доклада в «Logenheim»'е Ярославский начал поговаривать о немедленном возвращении в Советскую Россию... Я угрюмо молчала: — мне гораздо больше хотелось объездить маленькие, словно игрушечные (— ну, будто вот-вот вышли из мастерской «Кустпрома», — прирейнские города, которые помнила и любила с детства, когда побывала там с родителями, — затем побывать в никогда еще не виданном мною Париже... — «Поживем за-границей хоть этот год до конца, пока наши паспорта не истекли!..» — уговаривала я его раз-другой... «А ведь в самом деле, — согласился он однажды, — поеду в Россию “расстреливаться”... Почему бы мне напоследок, перед смертью не повидать Париж... Вот именно: — пока паспорта не истекли — махнем в Париж и обратно...»

2 месяца дожидались мы французской визы, — через два месяца нам отказали. Вообще с советскими паспортами во Францию пускают неохотно. Взять же «нансеновские» паспорта Ярославский считал ниже своего достоинства, и я с ним в этом была вполне солидарна¹⁰. — “Пусть я “блудный” сын Советской России, но все-таки я сын ее... Эти советские паспорта имеют для меня прямо-таки какое-то символическое значение» — говорил он.

Мы решили отправиться в Париж безо всякой визы. К французской границе поехали мы, не имея еще никаких определенных планов, как именно переправимся мы через границу... Из вещей взяли с собой только по сменке белья и «кровное» наше: — рукописи и пишмашинку. К пишмашинке оба мы относились как к чему-то родному, одушевленному; еще бы: — ведь она была третьим сотоварищем в нашей творческой игре! — Недаром Ярославский в одном из стихотворений, вошедшем в сборник «√я» («Корень из Я»), шутя называет машинку второю своею женой... Бедная верная машинка! — Кто мог тогда думать, что она разделяет нашу судьбу: — в Ленинграде при аресте Ярославского она была отобрана и так и осталась в ГПУ!..

Но тогда за границей она еще была с нами и теперь, когда мы собрались через границу, Ярославский, неаккуратный, как и я, ко всем остальным вещам, — бережно, как ребенка, нес ее за спиной в «рюкзаке»...

Доехали мы до Заарбрюкена, там решили понюхать воздух и решить, как действовать в дальнейшем... Заарбрюкен — маленький городок, ставший волею Версальского договора — пограничным. Благодаря этому обстоятельству для местных жителей открылся новый источник заработка — контрабанда, городок расцвел, привлек массу пришлого элемента, зажегся заманчивыми огнями шикарных ресторанов и кафе с картежной игрой... Но для наших целей гораздо подсобнее оказалась странная труппа, под названием «Volckskuche» («Народная Кухня»), куда мы нарочно пошли. Там за не особенно дорогую плату подавали через окошечко в стене одно единственное блюдо — суп в мисочках, напоминавших опрятные плевательницы... Желаяо-

щие, внося небольшой залог, могли получить еще оловяную ложку, — но залог вносили немногие, большинство хлебали через край... Супу на порцию наливали много, так что можно было наесться досыта, состоял он из риса и чистой воды, но был почему-то серый, точно крепкий навар серой глины... Учреждение это было муниципальным и носило полублаготворительный характер...

Здесь-то, за миской супа, смиренный и словоохотливый контрабандист растолковал нам где и как переправляться через границу... Он посоветовал нам доехать поездом до немецкой деревушки «Klein-Rossel». «Klein-Rossel» крошечной речушкой отделяется от французской деревушки «Grosse Rossel»... Из «Гросс-Росселя» в «Клейн-Россель» бабы через мостик преспокойно ходят на базар, но на мостике все же поставлен французский пограничный пост, следящий за тем, чтобы не переносили контрабанду и не переходили границу посторонние, не местные жители... Когда мы шли через мостик, пограничник подозрительно посмотрел на нас. Тогда мы демонстративно остановились посреди мостика, Ярославский вытащил из кармана бутылку вина, взятую на дорогу (при этом мы «с понтом» качнулись будто пьяные), — дал мне отпить прямо из горлышка, — хлебнул сам, — мы обнялись и чмокнулись, — постовой засмеялся, — мы благополучно очутились во Франции... Из «Гросс-Росселя» на трамвае, пробегающем прямо между зелени пастбищ и возделанных полей (невиданный в России сельский трамвай!) доехали мы до железнодорожной станции — Форбах — официальной французской пограничной станции. Там мы, из предосторожности, не сели на поезд, а пешком отправились за 5 километров до следующей французской станции — «Кохерен»... Шли днем, среди «культурной» европейской природы, — не переход границы, а очаровательная, идиллическая прогулка на «лоно природы» в стиле Карамзина!... В Кохерене мы сели на поезд и прямым путем доехали до Парижа, но Париж («русский» Париж) нас уже знал. Когда мы были в Берлине, «Последние Новости», «Дни», «Возрождение» —

писали о наших берлинских похождениях и перепечатали из «Руля» открытые письма Александра Ярославского.

Но Ярославский твердо решил не иметь больше дела с эмигрантской печатью. Когда А. Ф. Керенский, которому Ярославский давал почитать рукопись повести «Бродячий лектор», возвращая ее, сказал: — «Зачем же вы ее берете? — Мы бы с завтрашнего дня начали ее печатать в наших “Днях”... Вот Минор¹¹ тоже находит, что она подходит...» — Ярославский однако решил: — «Чем печатать в “Днях” — лучше совсем не печатать». Ближе сошелся Ярославский в Париже с анархистами, в частности с тов. тов. Бергманом и Волиным (Эйхенбаумом)¹². Последний — интереснейшая и симпатичнейшая фигура — в эпоху Гражданской — ближайший сподвижник Махно и, так сказать, — теоретик «махновщины»...

Пока Ярославский тосковал по Советской родине, я, лично, спешила изучать жизнь Парижа (а когда были мы в Берлине, то — Берлина), причем главным образом определенную сторону этой жизни: — ночлежные дома, кабаки, преступный мир, проституцию... (Недаром Ярославский еще в России говорил мне: — «Стоит мне на минуточку оставить тебя одну посидеть где-нибудь в скверике, и я могу быть уверен, что вернувшись, застану тебя в обществе проститутток или карманников!..»)

Есть в Париже улица — «Рю де Соль»... «Рю де Соль» знает не каждый истый Парижанин. Но бродяги ее знают. Она, между прочим, расположена в довольно буржуазном районе... Среди буржуазных улиц затерялась одна не столь буржуазная, совсем коротенькая и кривая, как курильная трубочка старого кабатчика... Когдаходишь на «Рю де Соль», все дома ее сразу же видны на перечет... На одном из них, узеньком, втиснутом меж двумя другими, у входа отвисает чуть жалобно, выцветший красный флаг...

В подъезде, на ступеньках и возле этого дома толпятся бродяги: — мужчины, женщины, с ними — дети... Их всех собрал сюда под красным флагом не Коминтерн, не Ленин, не Мопр¹³, — нет, — барон Ротшильд. И вообще красный флаг, в данном случае играет роль не знамени, а отличии-

тельного признака: — в этом доме помещается еврейская ночлежка, содержащаяся на средства Парижской еврейской буржуазии, главным образом — Ротшильда...

Ночевать мне там не случалось, но я проводила там целые дни, приходя под предлогом «обедать»... Там я беседовала с ночлежниками и изучала быт... В ночлежке этой в течение двух месяцев каждый — все равно Парижанин или даже совсем иностранец — получает совершенно бесплатно ночлег, чай с хлебом, обед и ужин. Кормят почти досьта и, во всяком случае обед много питательнее и сытнее чем в советских УСЛОН'ах и исправдомах... Ночлежка на «Рю де Соль» — еврейская ночлежка, но по тому же образцу в Париже имеются Лютеранская и Католическая ночлежка... Если вспомнить, что в Советской России ночлежные дома платные, еда в них тем более за деньги, если подумать о том, что «Ермаковку»¹⁴ совсем ликвидировали, невольно приходит на ум, что даже буржуазная благотворительность совсем не так бесполезна и во всяком случае во всей своей смешной сантиментальности стоит все же выше черствой «социалистической» опеки большевиков! — Барон Ротшильд — вашу руку! — я вас не знаю, но право же вы порядочнее лицемерной сволочи из Моссовета! — вы гораздо порядочнее!

О ночной жизни Парижа скажу только, что в Монмартрских кабачках вышибалы-официанты дерутся и вышибают нищих так же вульгарно и больно как в Москве на Самотеке, — что парижские апаши — такие же задушевные ребята как наши «Митьки Малаи» и «Сережки Рыжие», и что вообще — жизнь везде одинакова...

В Париже мы пробыли недолго — всего два месяца; — Ярославский настаивал, чтобы возвращаться в Россию. Мне это было не очень по душе; у меня имелись свои, совсем другие планы: — вот бы связаться с Махно, который тоже находился в Париже, и можно было бы затеять веселую игру на Украине, — отчаянную игру, левую игру, истинно-революционную и революционную по-«блатному»!.. Но Ярославского эти мои планы не прельщали, он упорно думал только о Советской России, а очень уговаривать его

я даже не считала себя вправе: — как можно насиловать совесть человека? — А человек определенно считал себя виноватым перед революцией и советской страной и хотел свою вину искупить...

— Еду в Россию расстреливаться... А если большевики меня не расстреляют, — тем лучше! — И он поехал на советскую родину, которая его так отвратительно, так тупо не поняла!..

За Александра Ярославского — не только как за любимого, — как за соратника, как за однодельца, — как за «клиента» (выражаясь по-нашему, по-блатному), а прежде всего как за гениального поэта, загубленного вашей бездарностью — клянусь я отомстить!.. И не только за него — за расстрелянных поэтов: — Гумилева, Льва Черного, загадочного Фаина, — за затравленного и доведенного до самоубийства, Есенина!¹⁵ И еще клянусь отомстить за того несчастного стрелка, чья рука поднялась, чтобы дулом нагана выключить гениальный ток мысли из мудрого мозга Александра Ярославского, — за всех расстреливающих стрелков, под гипнозом ваших лицемерных, лживо-революционных слов, идущих беспечно на преступление наемного или подневольного убийства, — за всех их «не ведающих, что творят» клянусь отомстить словом и кровью... И клятву эту я исполню, если только, разумеется, этой моей «автобиографии» не суждено стать «автонекрологом»...

А пока продолжаю. Из Штетина на пароходе вернулись мы в Россию после годового отсутствия. Ярославский, как маленький ребенок, радовался русской речи на улицах, антирелигиозным плакатам в книжных витринах, а больше всего — Октябрьским демонстрациям...

— «Я рад, что я вернулся... А ты не сердишься на меня, Женичка? — шептал он, умиленно глядя на демонстрацию и сжимая мне руку. — Тебе, — я знаю — хотелось остаться». Эти дни были одними из самых счастливых в нашей жизни.

Когда Александра Ярославского арестовали, — я сразу пошла в «шпану». Я уже подробно указывала выше, какое колоссальное социальное значение придаю я «босячеству»

и почему именно. Если бы я была интеллигенткой «Абрамовиче-Дановского» типа¹⁶, то дело бы ограничилось теоретическим признанием, и — все.

Но как я уже упоминала, — я люблю быт! К тому же у меня с детства — страсть испытывать все на собственной шкуре...

Какая пошлость — со стороны сочувствовать уголовному миру, наблюдать его сбоку, или даже вдаваться в «социальные эксперименты» — <с> переодеваниями, как некоторые эксцентричные западные журналисты, которые, переодевшись босьяками, на одну ночь приходили в ночлежку или проникали в подозрительную трущобу, с тем, чтобы прямо оттуда — в утреннюю ванну смыть с себя всю эту грязь и — о, кошмар! — а вдруг — вошь!

Нет, я решила погрузиться в «шпану» по-всамделишному, и не как «знатная иностранка», а как равная — я решила научиться воровать...

Прежде меня удерживала привязанность к Александру Ярославскому, — теперь я была свободна, — конечно, я и теперь имела обязательства перед ним, — «засыпавшись», я могу скомпрометировать его, но соблазн был слишком велик, — я не совладала с собой...

Легко сказать — «украсть»!.. Это все равно что сказать — «Пойду с горя делать концерты на рояле!..» — Так с первого разу — только потому, что деньги тебе до зарезу зандобились и ты, наконец, решился на кражу — не украдешь!.. Для кражи мало преступного намерения, кража — <в> полном смысле слова, ремесло. Без таланта здесь еще в крайнем случае обойтись можно, но без навыка, без предварительной подготовки — никак!..

Я вначале даже не знала как приняться за это дело (только фрукты и сласти с прилавков гастрономических — удавалось таскать с первого же дня, но ведь это же неинтересно!). Итак воровать я научилась не сразу, — сначала пошла газетами торговать... Нравилось мне, что — целый день на улице, что — среди вороватых, хулиганистых мальчишек...

Самый напряженный, самый патетический момент дня для газетчика, это — момент выхода «Вечерней Красной»... Утренняя — та расторговывается исподволь, почти уютно... наберешь с утра всех утренних газет понемножку, — сядешь с ними, бывало, спокойно где-нибудь на Невском на ступеньках и декламируешь:

— «Правда!.. — Ленинградская Правда!.. Красная газета!.. Московская Рабочая газета!.. — 3 копейки — Московская Рабочая газета»... И опять сначала:

— «Правда!.. Ленинградская Правда!»... А уж кому нужна газета, тот сам <берет>. Смотришь — одну какую-нибудь, ну примерно — «Правду» — меньше других покупают; — тогда наскоро ее проглядываешь (одни заголовки) и начинаешь усиленно ее «подсватывать», как отец — засидевшуюся в девках старшую дочь «через» голову которой младшие — шустрые норвят замуж идти:

— «Правда! — Доклад товарища Троцкого!.. Новые выступления оппозиции!»...

Совсем другое дело вечерняя газета: — тут у газетчиков разыгрываются алчность, азарт, борьба конкуренции. Еще задолго собираются, становятся в очередь на Николаевском вокзале перед газетным киоском, куда принесут «Вечернюю» для раздачи... Принесли!.. — с криком бросаются газетчики к прилавку киоска, жадно, как добычу, хватая каждый свою стопку газет и бросается бежать, просчитывая на ходу. Разбегаются от Николаевского по радиусам: — по Невскому, по Лиговке, по Старо-Невскому... Точно современные евангелисты бегут газетчики в мир, неся «благовест», что вышла «Красная Вечерняя Газета»! — И каждый газетчик спешит, боится, что не ему попадет самый свежий покупатель... А с «Вечеркой» — беда: — сразу не распродашь в первый момент, — так уж не продашь совсем — «засол»!..

Торговала я в Ленинграде с месяц; затем заключенного Ярославского перевезли в Москву, за ним немедленно переехала туда и я. В Москве торговать газетами оказалось не в пример труднее чем в Ленинграде: — конкуренции больше, а грамотеев, т. есть читателей меньше... А люди в

Москве вредные, несочувственные!.. Бывало сядешь где-нибудь на ступенечках — гонят и дворники и «менты»-сволочи. Зайдешь предложить газеты в столовую поприветливее — «вышибают» заведующие... Поторгуешь день — из дому выйдешь в шесть утра, домой вернешься в восемь вечера — денег мало, а ноги в крови, натерты... Еще бы ничего, если б так — себе на харчишки и ладно, а то ведь знаешь: — к пятнице (день передач) нужно хоть 3-4 рубля скопить — «кучерявенькому» своему на передачку!..

Я бы, конечно, имея университетский диплом, могла поступить на службу, но жалко было с улицей расставаться, — хотелось испытать «блатную» жизнь, — научиться воровать... К тому же самый вид советских учреждений, — чистеньких, самоуверенных и неприступных вызывал во мне всегда нечто вроде приступа морской болезни... И идти служить в эдакое гнездо «книжников и фарисеев»!..

Я предпочитала биться на тротуарах, набиваясь с газетами... А тут еще, то — в Гепеу за справкой беги, то с передачей полдня провозишься, то — к прокурору на Спиридоновку (или, как я называла — «козла доить» — аналогия по продуктивности). Случалось, — наберешь с утра газет, займешь очередь у прокурора и тут же в очереди, в здании прокуратуры, торгуешь. Кой-кто из женщин восхищается: — «Вот баба — бойкая, ловкая!.. Уж эта выхлопочет своего мужа». Да, уж — выхлопотала!..

Особенно хорошо шли у меня газеты 2 раза (тогда я еще в Ленинграде была). Во-первых — когда бомбу в Гепеу бросили. Газетчики наши вяло выкрикивали в этот день, как всегда, «тезисы», предложенные из редакции; я одна, просмотрев газету, обратила внимание на пикантную сенсацию. Стою эдак на Невском проспекте и как кто мимо идет, — громко, отчетливо, глядя в сторону:

— «Бомба в московском ОГПУ! — Красная вечерняя газета!..»

«Бомба в московском ОГПУ» — Прохожий останавливается как ошарашенный дубинкой. Руками, дрожащими от волнения, вытаскивает кошелек и разворачивает газе-

ту... Каждому, как, все равно — подарок к именинам: — кто же в Советской России не ненавидит ОГПУ...

Второй раз бойко шли газеты, когда двое хулиганов в Екатерининском парке изнасиловали восьмидесятитрехлетнюю старуху... Честь и слава хулиганам насилующим восьмидесятитрехлетних старух!.. Пошли им бог долголетия и успехов в их доблестных делах газетчикам на радость!..

Чтобы окончательно погрузиться в беспризорную жизнь, ушла я от тетки, у которой проживала в Москве, и решила жить с беспризорными... Объявив тетке, что ухожу от нее совсем, вышла, как всегда, торговать газетами... Под вечер начинаю подумывать, что пора бы поразмыслить о ночлеге. Подхожу к мальчику, просящему возле булочной подаяния: — «Мальчик, ты не из беспризорных ли случайно?» — Испуганный взгляд белесых глазенок: «Ой, нет, тетенька! — У меня отец, мать... Я с матерью живу». — «Да, нет, я ведь... не в том дело... Мне вот самой ночевать негде... Я вот и думала, ежели ты — из беспризорных, то и мне покажешь где можно ночевать без денег и где документов не спрашивают».

— «Это я могу, — там же где и сам ночую... Пойдем вместе ночевать?»

— «Пойдем. Вот и хорошо!»

— «Только ведь не сейчас?.. Мне газеты бы доторговать...»

— «А я еще постреляю маленько».

Ночью он ведет меня в скверик на Арбатской площади, — с наивной словоохотливостью, сидя со мной на скамейке в скверике, выкладывает мне свою жизнь: — был в деревне пастушком, в городе — недавно, — «днем “стреляю”, а вечерами по карманам балуюсь...»

Устраиваемся спать; я — на одной скамейке, он — на соседней... Только засыпаю, как просыпаюсь от чьего-то непрошенного объятия; передо мною — длинный верзила, прилично одетый и изрядно пьяный... Упрашиваю его не приставать ко мне. На помощь мне приходит мой маленький сосед: — «Ты эту тетеньку не обижай, — она не “гуля-

щая”, она только газетами торгует!.. — «А ты кто еще такой, чтобы заступаться? — Или ты может сам ее — ... Смотри, — я тебе всю морду искроветю — щенку!..» — «Как бы тебе самому от меня не попало!!!» — важно вставляет мальчик и затем хвастается мне на ухо: — «Ты ничего не бойся, — у меня “финка” есть...» — «Прения» продолжаются. Лежу под перекрестным «матом» «сторон». Наконец верзила уходит, обещаясь обесчестить противоестественным способом покойную бабушку противника... Я в душе своей решаю каждую ночь брать себе на ночлег эдакого ребенка, который сам еще не опасен, а других отводит... Пока продолжаю прерванный сон; наутро мой маленький товарищ говорит мне: — «Ну, а теперь тебе умыться надо». На лице у меня — размытая росой типографская краска от вчерашних газет, смешанная с пылью тротуаров...

Нужно было не опоздать за газетами, пока что общественные уборные были заперты до 8-ми часов, и поэтому умываться пришлось идти под желоб трубы, благо накануне был дождь и вода с крыши по трубе сочилась...

Больше я своего маленького защитника так и не видала, а идти без него ночевать в сквер, где может со мной сделать что захочет любой верзила, — я считала слишком рискованным, а потому на другой день, с наступлением ночи просто «шлялась» из улицы в улицу, избегая оставаться в опустевших и переходя в те, которые еще жили ночной жизнью... Гасли пивнушки сперва на Смоленском, затем на Арбате... Гасли «киношки»... Город погасал и умирал постепенно, как тело умирающего от конечностей к центру... Таким образом, идя просто на свет, я понемножку вышла на Тверскую, по дороге стараясь кому-нибудь всучивать недопроданные газеты... Совершенно неожиданно для самой себя, очутившись на Тверской, я обрадовалась: — здесь не было никаких признаков замирания на ночь; — тут в крайнем случае, на худой конец, можно просто проходить до утра, не вызывая никаких подозрений...

Остановившись на углу, я постепенно разглядела своеобразный характер проплывавшей толпы: — проплывали

все — одни и те же, в ту и другую сторону, точно в «кадрилы» или «полонезе» по бальному паркету, — порою из одной группы в другую обменивались шутками, окликали друг друга, — большинство казалось были знакомы между собой... Среди этих проституток и завсегдатаев этого «дома терпимости под открытым небом» я сразу почувствовала себя как на балу в незнакомом доме, где никого не знаешь, и куда еще вдобавок явился в неподобающем костюме: — проститутки, по обязанностям профессии, были принаряжены, я же шла в потрепанном пальто, впитавшем в себя не один слой пыли с московских улиц... Пробиваясь сквозь толпу, выплыла я, как на отмель, на Страстную... Впрочем, сейчас эта «отмель» тоже была залита приливом толпы... Здесь становился ясен смысл того, что творилось на Тверской: — там не просто плыли куда-то, как казалось на первый взгляд, и выставлялись на показ <, там> и — оценивали, здесь же на Страстной заключались самые сделки, сторговывались... У высокого ларька Моссельпрома, как у маяка останавливались сговориться меж собой о чем-нибудь те, которые на минутку не хотели быть смытыми людской волною... В тени уборной, на мусорном ящике какие-то хлопцы, прилепив к ящику зажженный огарок, играли в карты, ничуть не смущаясь близостью «легавых» и «ментов» (очевидно — фаталисты: — так и так пропадать от изоляции!)...

— Вот это — то, что мне надо! — иду прямо к ним. Некоторое время стою, демонстративно уставившись на них. Косятся на меня полусекундным недоверчивым, но глубоко флегматичным взглядом, не отрываясь от игры... Начинаю нарочно безо всяких подходов: — «Товарищи, вы не знаете случайно, — где бы можно переночевать без документов и без денег?..» — «Не знаем, не знаем... Ну ходи — твой ход!..» — «Так — крою» — «Козырная бура» — «Так знаете у меня вышло: — муж в тюрьме сидит... Документы мои у него при аресте вместе с его документами отобрали... От тетки ушла — поругалась; теперь ночевать негде...» — «Пойдемте со мной, — я вам покажу место... Сейчас я, как

видите, занят... Как игру закончим... Приходите так через полчаса опять на это же место...»

Через полчаса он идет впереди меня. Среднего роста, стройный, с не то чтобы красивым, но довольно правильным и почему-то интересным лицом, одетый небогато, но «с иголочки» аккуратно — ни дать, ни взять — «благородный» вор с германской кино-фильмы!.. Приводит меня в какой-то дом, совсем рядом со Страстной где-то, — мы подымаемся по довольно запущенной лестнице на самый верх. На самом верхней площадке стоит большой пустой ящик. — «Вот тут на ящике можете устраиваться. Спокойной ночи!» — И — еще раз оборачиваясь, уже начав спускаться по лестнице: — «Можете спать спокойно. Могу поручиться, что никто вас здесь не тронет. За то, что вас здесь не обкрадут — не ручаюсь». Засыпаю... Но уже довольно скоро, сквозь сон, слышу: — «Это кто еще такой?! — Кто здесь спит?!» — В меня, как в квашню, тыкается, с удивлением, чья-то рука... Оказывается, это возвращающийся к себе домой один из обитателей дома. Он пьян, но рассудителен. Присаживается рядом со мной на ящике. Я тоже уже успела изменить лежачее положение на сидячее... Объясняю ему как сюда попала... Идилию нашей беседы прерывает гневно-распахнувшаяся дверь одной из квартир и женский голос: — «Опять, — сволочь — привел какую-то!.. Я тебе покажу “девок” водить... Сейчас же домой иди!.. Да ты опять пьян, — кобель ты эдакий!..» — «Извиняюсь, гражданка, меня никто не приводил, — я сама сюда пришла. “Они” только наткнулись на меня спящую, стали спрашивать как я сюда попала... Женщина я убогая, инвалидка... Без квартиры осталась... ночевать мне негде... “Они” меня не приводили, я — сама...» — «Ну, а коли — сама, то и катись сама отсюда!.. А сама не пойдешь, — я сейчас дворника покличу!.. Тут не ночлежка!.. Может ты — “заразная” какая?!» — Ухожу, возвращаясь на Страстную в свой «Жилотдел» возле мусорного ящика... Встречает меня давешний «квартиродатель»: — «Ну, как — выпались?» — Рассказываю... Улыбается: — «Пустяки!.. На вашем месте я даже теперь же вернулся бы обратно...» —

«Благодарю вас. Я лучше воздержусь». — Пожимает плечами: как знаете.

Вглядываюсь в сдержанные, полные достоинства манеры собеседника и задаю пошлейший вопрос: — «Вы верно случайно — в такой жизни. Вы сами в какой среде выросли?» — «Я? — Под лодкой». — Он снова исчезает в волнах Страстного прибоя.

До утра, — когда идти за газетами — мне делать нечего; — пока что разглядываю детали жизни Страстной: — самый азарт здесь под утро, когда еще можно схватить последний отчаянный «фарт», — сейчас посторонний лучше не мешайся! — страсти разгораются, — каждому предоставляется теперь схватить, не проворонить последний — иногда самый крупный «шанс»: — проститутке «зафалловать», окончательно распясовавшегося и «разъярившегося» у «Филиппова» под утро, шикарного «фрайера», который с вечера полутрезвый, и не взглянет на уличную проститутку; вору — заманить, чтоб «помыть» «бусого» кассира или растратчика; лихачу — свезти советского служащего, растратившего уже столько, что теперь все равно «трешку» или «двухчервонную», не глядя, сунуть извозчику, — или увезти за солидный куш от «легавого» удачливого «ширмача»; у торговцев-цветочников свой предутренний «фарт»: — бросаться в догонку за разъезжающимися на лихачах парочками с букетом цветов... Девчонки шепчут кавалерам: — «Купи», кавалер, рисуясь перед девчонкой, не торгуется, — с лихача на руки цветочнику порхает «трешка», — кавалер потно комкает девчонку и мнет цветы ей под сиденье, — оба уже забыли про них, — да разве ей цветы нужны? — так, лишь бы «фрайера» «выставить»!.. А цветочник тем временем уже дает заработать босяку, из-под полы торгующему водкой — не по «полуночной» уже, нет, — по третьей с вечера <...> цене; и тут же уж и пирожник тянется за заработком: — «Пирожка горяченького — закупить?»

...Этот азарт сразу заразил меня, — нестерпимо захотелось из «человека дня» стать «человеком ночи», — тут же зарабатывать с ними со всеми вместе, иметь свою долю в

этой предутренней добыче, — захотелось красть с шиком, красть «на пари»...

Когда рассвело, — Страстная омельела, остались только кучками «коты» и «деловые», как ракушки оставленные на песке отхлынувшей волной прилива, — да кое-где, прислонясь к стене, тужился «блевать» окончательно пьяный и уже «пустой» “фрайер”... Да девчонки возле уборной, из тех, что никто не берет, постарее, да погнилее — злобно переругивались от обиды (обидно не то, что тело женское продажно, а то, что никто не берет-то уже!..) и старались уязвить друг друга побольнее последней, — самой больной и самой обидной обидой, особенно большой и обидной здесь на Страстной, где обида слишком похожа на правду, — символом последнего женского унижения: — «Эх, ты — в рот...!»

Подхожу к киоску Моссельпрома, где «коты» и «деловые» собрались потолковать о делах. Возвращается, подработав, одна из самых шикарных проституток Страстной. Довольная и деловитая подходит к своему «коту». — «А! — Миррочка! — Ну, как по...?» — «Спасибо — хорошо. А как твои дела?»

Что касается меня, то я обращаю на себя всеобщее внимание: — новое лицо на площади. Приходится каждому рассказывать свою историю. Вначале относятся не больно-то доверчиво: — принимают за пришлую неудачливую проститутку... Еврейка-Миррочка обращается ко мне с добродушной иронией: — «Честная дама с газетами, — если вам, действительно, как вы говорите ночевать негде, то почему вы не обратитесь в какой-нибудь комитет, который помогает бедным, но честным дамам?» — Не остаюсь в долгу: — обращаюсь к «собранию» с шутливой по форме, но искренней и глубоко серьезной по содержанию, — речью, в которой доказываю, что именно они — здесь собравшиеся — являются «солью земли»... Сначала здорово, но почти сочувственно, — смеялись; — потом кто-то небрежно заметил: — «А ведь то, что она говорит не так глупо!..» — «Да, если вдуматься — слова даже совершенно правильные!..»

— Одним словом, никто не протестовал против того, чтобы признать себя «солью земли».

В последующие дни попыталась я удержаться на Страстной. Днем торговала я здесь газетами, ночью — цветами... Торговать цветами на ночной Страстной было (особенно при моей инвалидности) — глубоко унижительно: — проститутки упорно подозревали, что я собираюсь составить им конкуренцию... «Фрайера» кажется думали обо мне также: — уверенно приставали или с издевательством браковали.. — «Гражданин, купите цветочков?» — «Цветы ваши увяли, и вы сами также... Не нужно ни вас, ни ваших цветов!..» Отвечаю медленно, с расстановочкой, негромко: — «Цветы мои можете оценивать, так как они продаются, а меня оценивать вам незачем, так как я не продаюсь...» — Ничего не смысля в торговле, покупала я цветы втридорога... И все время приходилось волноваться, что цветы увянут раньше чем их у меня купят; тогда вместо прибыли, круглый убыток!.. Несмотря на все это, не хотелось уходить со Страстной. Здесь следовало завязать и укрепить связи, чтобы развернуть работу...

Предупреждаю: — я шла к жуликам не как «к младшим братьям» — учить их, нет, — я шла сама благоговейно учиться у них воровскому ремеслу, их воровской этике. И собиралась <не> нести им какое-то новое учение, а укреплять в их среде их же старые «урканские законы», расшатанные за последнее время: — непримиримую ненависть к «легавым» и «ссученным», товарищескую «подельчивость» (ту же взаимопомощь) между «блатными» и т. д. Я даже одно время носилась с эксцентричной идеей «одногодневника» (вернее — «однонощника»): — «Проститутка — уголовнику». Как раз в то время добрая половина жуликов Страстной была скошена изоляцией; так вот я предлагала: — одну ночь проституткам отработать на передачу забранным товарищам! Но эта идея оказалась неосуществимой, так как отсутствующих знали по «кличкам», но не по «липам»... — Так на какое же имя нести в МУР передачу?

Более серьезные мои идеи заключались в следующем: — я мечтала — не сразу, конечно, а путем долгого, безграничного терпения, после тяжелых неудач и нелепейших провалов, которые несомненно будут, — организовать уголовно-политический беспартийный, объединяющий все антисоветские и просто преступные элементы, — комитет, который поставил бы себе задачей освобождение из мест заключения — в первую голову «смертников», а затем и вообще наиболее крупных преступников, как уголовных, так и политических... Для этого, разумеется, потребуются колоссальные денежные средства, — их будем доставать путем «налетов» — «экспроприацией» — дело не в названии... Политические — полагала я — пойдут к нам из идейных соображений, уголовные будут достаточно заинтересованы материально: — ведь не откажется же «смертник», которому комитет устроит побег, — «отблагодарить» комитет с первого же удачного своего «дельца»...

Если я сейчас все это излагаю так откровенно, то это потому, что я все равно ожидаю либо расстрела, либо длительного заключения, и уж во всяком случае за мной будет достаточный негласный надзор, а следовательно мне уже так или иначе, не придется проводить этот план в жизнь!..

Возвращаюсь к своей «автобиографии»: — Торгуя то днем, то ночью на Страстной (а когда и круглые сутки), — отсыпаться ездила я на трамвае в Сокольники. Особенно хорошо было там спать днем, в дивной сочной траве, под усыпляющим солнцем... Две ночи ночевала я там в парке в полном одиночестве, не опасаясь никого, кроме милиционеров... И недаром я их так боялась: — один из них однажды украл оброненную случайно мной сумочку с последними моими деньгами, — объявив, что он эту сумочку поднял, а значит обязан снести в «стол находок». Другой милиционер пытался меня изнасиловать в Сокольниковском парке среди «бела» дня... Из недалних кустов любознательно подглядывали, пересмеиваясь, «урки», но подвыпивший милиционер рассчитывал на то, что ни один из этих бездокументных парней никогда не решится высту-

пить свидетелем в каком бы то ни было деле... И все-таки один из этих ребят своеобразным способом выручил меня: — в самый решительный и пикантный момент, когда я умоляла и отбивалась, он подошел с простодушной улыбкой к перегнувшемуся надо мной милиционеру: — «Товарищ, разрешите прикурить!..» — Милиционер, конечно, выпустил меня из рук, достал спички и протянул парню, а когда тот, закурив, повернулся, — выхватил наган и с минуту целился в спину уходящего парня... — «Э, чорт — не стоит!..» — и спрятал наган. Я потом благодарила моего спасителя: — «А молодец ты, парень!.. Вот можно сказать спас от большого для меня несчастья!.. Тебе спасибо... — Ты что же выручить меня решил — подошел?» — «Нет, — я так подошел, для “блезирю”...» — И игриво засмеялся...

Наконец я устроилась на постоянную квартиру — в стеклянную трамвайную будку... Собственно, вполне постоянной мою новую квартиру назвать было нельзя, так как это была то — трамвайная будка в Охотном ряду, то — трамвайная будка на площади Революции... Выгонят из одной — шли в другую. Иногда за ночь приходилось раза три переходить из будки в будку... Ночевало нас, беспризорных в будке много до тесноты... Были нищие, были воришки из мелких, проститутки из беспризорных... Здесь нашла я, в полном смысле слова, родную семью. Раз в неделю ходила я в гости к своей тетке; бывало засидишься — уговаривает остаться ночевать... Так даже пугаешься: — «Нет, мне нельзя никак — мне “домой” надо!» — Самая мысль заночевать где-либо в другом месте казалась мне коварной изменой родимой «садке», «моим» ребятам!.. Тетке я сказала, что нашла себе комнату; и она, а больше еще мама, приехавшая из Ленинграда погостить к тетке и повидаться со мной — умоляли, со слезами обиды, сообщить им мой адрес. — «Я — мать. Имею же я право знать! Если не хочешь, — я не буду к тебе туда ходить... Но хочу знать на всякий случай», — настаивала мама. Бедная! — как я могла ей сообщить мой адрес, когда у меня его не было. Между тем был уж конец сентября. По ночам на «садке» становилось холодно. Ходили отогреваться к костру на Театральной пло-

щади возле «асфальтовых» котлов. Маленькие «пацаны» даже совсем спали в этих котлах... Как-то, когда ребятам удалось разгромить продуктовый ларек, жарили на костре колбасу и пекли яблоки, употребляя вместо вертела лежавший на площади железный жезл трамвайной стрелочницы... Спали мы теперь в будке все — женщины, ребята — сбившись в кучу; каждый ложился на ноги предыдущего, чтобы эти ноги греть... так всем было значительно теплее и только самый нижний под конец ночи не выдерживал и вопил: — «Да, что вы в самом деле навалились все на меня, — ноги у меня железные — что ли?»

Между тем, следствие по делу Ярославского закончилось, центральное Г.П.У. искало меня, чтоб сообщить, что мне с ним разрешено свидание, — но не могло меня разыскать, так как я теперь нигде не была прописана. А тем временем Ярославский, сидя на Лубянке, проводил голодовку, требуя свидания со мной... Он знал, что я в Москве, так как я еженедельно приходила с передачей, и следовательно, не мог поверить, что меня нигде не удалось разыскать, — хотя Г.П.У. его письменно об этом уведомило, в ответ на его голодовку...

И в этом, как и во многом более серьезном я безгранично виновата перед Александром Ярославским!.. В то время, когда так трагически решалась его судьба, — я не меньше чем о нем, думала о «шпане», о ее социальном значении, и тщеславно-мелочно увлекалась ролью, которую собиралась сыграть среди нее!..

В эпизоде со свиданием только одно остается мне неясным — почему, когда я приходила насчет передач, меня не могли уведомить о разрешении на свидание?

Свидание получили мы уже в Ленинграде, где находился Ярославский перед отправкой в Концлагерь, и куда (в Ленинград то есть) — я немедленно за ним последовала. Во время свиданья я успела рассказать где и как жила последнее время, причем Ярославский взял с меня слово, что я опять буду жить на обыкновенной квартире; если в Ленинграде, то — у матери, если в Москве, то — у тетки... Слово я сдержала, но связи с московской «шпаной» не оборвала и

с Ленинградской «шпаной» тоже завязала связь... между прочим, когда через год опять вернулась в Москву, то первым долгом, прямо с вокзала, кинулась повидаться со своей «садкой»... Но оказалось, за это время ребят всех переловили, а кто и сами поразъехались, а на «садке» теперь ночевали какие-то новые, деревенские, ничего общего не имеющие с преступным миром...

...Уже через месяц после того как Ярославского увезли из Ленинграда на север, я поехала в Кемь добиваться свиданья... Свиданья я в тот раз не добилаь, только «прожилаь» и назад из Кеми в Ленинград «дула» «зайцем»; где — в вагоне со шпалами, где — на буфере товарного, где — пассажирским под скамейкой...

После тех издевательств над заключенными, которые я видела в Кеми, — я еще непримиримее стала ненавидеть и презирать «советскую» власть, но, — боясь навредить Ярославскому, старалась не слишком проявлять эти свои чувства... Мысль служить в каком-либо советском учреждении представлялась мне отвратительной...

Времени даром я не теряла: — помаленьку начала воровать. Смешно и стыдно сказать с каких мелочей я начинала; так, например, отнеся знакомому в Ленинградский угрозыск передачу, — я, на обратном пути сняла тяжелый большой замок с ворот угрозыска и «загнала» его немедленно на Александровском рынке за 40 копеек.

Переехав снова в Москву, я выдумала себе специальность: — стала ходить по зубным врачам и в прихожих обшаривала карманы висящих там пальто, ища оставленных по карманам денег, и, когда удавалось незаметно проскользнуть в дверь, — выносила и самые пальто, шапки, шляпы... На деле этом я ни разу не «подвзошла», но когда я обошла большинство московских зубных врачей, — поневоле пришлось перейти на другое «амплуа». Я стала ходить по «тихой» по «голубям»: — рано утром, когда почти все обитатели двора еще спят, но усердные домработницы уже успевают развесить белье для просушки, — я с величайшим терпением обходила дворы подряд и снимала с веревок белье, платья, а также — вывешенные, чтобы про-

ветриться, — пальто, пледы, суконные одеяла («стеганные» — те слишком громоздки, никак не вынесешь!..). Реже — заходила я в самые квартиры через случайно незапертую дверь, — выносила из кухни примуса, обувь выставленную для чистки... Дальше кухни продвигаться я не решалась, так как протезы мои имеют свойство всегда немного стучать и совсем тихо пройти на них почти невозможно... «Брала» я только в зажиточных дворах; около какого-нибудь подвального жилища пусть хоть ценная вещь попадется — даром не надо!..

Воровство доставляло мне истинное наслаждение; большой душевный подъем вызывало чувство риска, которое появляется даже в момент совершения мелкой кражи. Но все же эта мелочь — барахло добытое по «тихой» — не удовлетворяла меня ни со стороны материальной, ни со стороны самолюбия... Меня манила высшая, так сказать — классическая — форма кражи — «ширма»... Хотя обыкновенно не только «мокрушка», но даже «скачки», а тем более «стопоренье» квалифицируется как более крупные по сравнению с простой «ширмой» — кражи, но на мой взгляд, «ширма» это та высшая ступень, на которой ремесло переходит в искусство; приглядысь к работе карманников нельзя не притти в восторг от их, полной изящества, ловкости... Взять «скачок», при наличии достаточной решимости, может по существу, любой слесарь; удачно «за-стопорить», может, если очень повезет, — то даже с первого раза, — любой решительный рослый и здоровый парень; а попробуй непривычный человек вытащить бумажник из внутреннего кармана! — это ему никогда не удастся! — Я, лично, оказалась к «ширме» совершенно неспособной; — в единственный раз за свою жизнь, что я пошла по «кармановой», — я «погорела», была побита пустой бутылкой и палкой — по голове, и после того вдобавок — препровождена в милицию. На мое счастье, я в этот день потеряла перчатку... Теперь в милиции я достала из своего кармана оставшуюся без пары вторую перчатку и объявила, что «потерпевший» будто бы пристал ко мне и, «шутя», стащил у меня перчатку и сунул к себе в карман, а

когда я полезла к нему за своей перчаткой — избил меня... Так как «заявитель» был не совсем трезв, — рассказ мой показался правдоподобен, и сердобольный милиционер отпустил меня, сделав на прощанье серьезное внушение «заявителю»...

Если мне сразу же не повезло по «ширме», то зато моей любимой отраслью скоро стала «бановая» (вокзальная) кража... Становишься, бывало, в очередь у билетной кассы (а еще чаще — возле «Камеры хранения ручного багажа») и как кто отойдет на минутку или просто отвернувшись, зазеваается, — тащишь небольшие чемоданчики и другой, нетяжелый на вес багаж — из-под самого носа владельца... Тут главный залог успеха заключается в том, чтобы действовать без нервной спешки, — со спокойным степенством, — для того, чтобы окружающие, которые почти всегда видят как ты «берешь», были уверены, что взяла свой собственный багаж... Ну, а спокойствия у меня, с моим характером, не занимать-стать!.. Впрочем, вопрос о спокойствии или волнении уместен лишь до того как «взял», — с этого момента уже вообще действуешь в каком-то сомнабулическом состоянии; — в тот момент как «взял», — в мозгу мелькает: — «отрезано», после этого руки как бы прирастают к ручке краденного чемодана, перестаешь видеть лица окружающих и различать их, а мелькает в глазах волнующим пятном одна сливающаяся толпа (как на сцене, когда выйдешь играть, в первый момент), уже не думаешь больше: — «пройдет “номер” или не пройдет?» — просто, как заведенная на определенное время, пока не остановится механизм, — машинально спешишь к выходу, — скорей на трамвайную стоянку, — забиваешься в трамвай, и только в трамвае возвращается к тебе снова сознание...

Однажды на «Курском», рано-рано утром, когда поезд только что примчал с юга советский «бомонд», — замечаю гражданина, рассеявшегося в вестибюле, в окружении своего багажа... У гражданина несомненно поэтическая душа: — глаза его мечтательно устремлены впереди себя, а вещи — по преимуществу расположены позади... Прельщают меня деревянный «баульчик» с висячим замком... Подкра-

дываюсь сзади и уношу «баульчик». Но я в это время еще не была знакома с внутренним расположением Курского вокзала, а потому совершила роковую ошибку: — в первый момент направилась с «баулом» не в сторону выхода, а в противоположную, надеясь, что дальше мне попадется другой выход. Этого не оказалось. Не могла же я теперь повернуть обратно и пройти к выходу мимо, несомненно уже хватившегося, пассажира — с его же «баулом»?! — Пока что иду в женскую уборную, прошу какую-то даму присмотреть за «баулом», а сама отправляюсь на разведку за дверь уборной; вижу двух «пацанят»; я их не знаю, но их лохмотья внушают мне доверие... Подзываю к себе, излагаю дело и умоляю указать мне какой-либо запасной выход, — обещаю выделить им в благодарность «долю»... Смотрят недоверчиво: — не похожа я на воровку! — но сулят «сообщить» что-либо!.. Я снова прячусь в свою засаду в уборной... Через несколько минут дверь уборной приоткрывается, просовываются мордочки «пацанят», они вызывают меня... Идем через какие-то подземные ходы, напоминающие парижское «метро»... это — переходы к дачным платформам «Курского»... Но один из переходов — о, счастье! — ведет на улицу... Теперь остается приступить к дележу... Но где? — предлагаю знакомый мне «шалман». Но чтобы там очутиться нужно перекинуться в Драгомилово... А, случайно, у меня — ни копейки «натыру»... Решаем ехать на трамвае «зайцем»... Для меня это, впрочем, дело привычное. Мне, как инвалидке, это — легко. «Пацанята» устраиваются на «колбасе». На каждой остановке соскакивают и заглядывают внутрь трамвая — там ли еще я? — не «подорвала» бы с «баулом», оставив их без «доли»... В шалмане знакомый парень взламывает «серьгу» на «бауле»... Внутри — сложенный фотоаппарат заграничной (брюссельской) фирмы, новенький бумажник (к сожалению пустой), летний костюм, бритва, «чувяки», 2 простыни, нижнее белье, альбом, документы на имя «фининспектора Птицына», личная переписка владельца и альбом с его талантливейшими собственноручными рисунками. Оставляю себе аппарат, 1 простыню, переписку, книги, альбом и доку-

менты. Остальное идет «пацанятам»!! Загоняю аппарат и простыню, заклеиваю в пакет переписку и альбом и отсылаю по адресу, указанному в документах: «Ленинград, Грибоедовский канал, дом № ...» Предварительно вкладываю записку следующего содержания: — «Сознавая, как дороги для каждого художника произведения его творчества, — возвращаю вам альбом с этими изящными, со вкусом сделанными, набросками, а также — вашу личную переписку, не имеющую ценности для похитителя. Вор».

...О, господи! — сколько радости доставляет каждый украденный чемодан! — Это, как в детстве — шоколадный шар с «сюрпризом»... Улепетываешь с чемоданом, а самому не терпится скорей узнать: — что бы в нем такое могло быть? — А вдруг — золото? А вдруг — «чистоган»? — Чаще всего оказывается — ерунда, «барахлишко», которое важно «загнать» поскорее, еще «парное» с «дельца», пока «штемп» не успел сделать заявки...

Ранним летом 1929 г. отправилась я на свидание на Соловки. Свидание нам предоставили лишь на общих основаниях, по 1 часу в день. Во время моего 10-тидневного пребывания на Соловках, на меня были поданы 2 «рапорта» начальнику Борисову. Один из «рапортов» был составлен вольнонаемным сотрудником Романеком, второй, если не ошибаюсь, заведующею Домом Свиданий — М. Д. Лобановой...

Вернувшись с Соловков, я продолжала заниматься кражами (торговлю газетами я уж больше года как бросила)... Ходила воровать я всегда одна; по крайней мере, засыплюсь — никого не подвешу; а в случае удачи, — делаю сама что захочу — со всею «добычей»...

Благодаря этому у меня также сохранялись хорошие отношения со «шпаной», — не было ни с кем личных счетов... Меня знали из «жулья» немногие, но те, кто знали, — относились с уважением (так по крайней мне казалось). Воры вообще всегда уважают женщину, которая самостоятельно ворует, а не идет на проституцию. А тут, когда шла на риск инвалидка, да еще — совсем одна, — ценили особенно... Под осень «подвзошла» я на Александровском вок-

зале с двумя чемоданами, и была отправлена в «Бутырки». Тут, на 4-ый день пребывания моего в «Бутырках», я, чтобы внести хоть некоторое разнообразие в бутырские будни — проломилась до крови металлической крышкой от «параши» голову надзирательницы, за что была переведена в холодный карцер в «Северной башне»... После 13-тидневного пребывания в «Бутырках» меня вызвали в суд. На суде я так ловко и живо обрисовала как «потерпевшая» переглядывалась с каким-то «интересным» «гепеушником», а я в это время облюбовала и «сработала» два ее «аппетитных» чемоданчика, перевязанных между собой шнурочком, — что не только весь зал суда, но и сами судьи — покатывались со смеху, и «вынесли» мне всего 1 месяц «принудиловки»...

Выйдя из «Бутырок» я, не медля, отправилась на второе свиданье. О событиях, произошедших в связи с этим свиданием, на Парандовском Тракте (где находился в это время в мучительнейших условиях, в Штрафизоляторе — Александр Ярославский) — писать не буду, — упомяну только, что вполне достаточный материал о них (показания мои и показания Александра Ярославского) — имеются в Кемском ИСО (ИСО 1-го отд.), если только не были отправлены при деле Ярославского в «центр»...¹⁷ Несомненно одно: — события эти были ступенью к конечной катастрофе, ибо Александр Ярославский — не такой человек, чтобы принять сомнительного «аромата» «блат» из загрязнившихся рук (даже если это мои руки!), — как это принято в вашем УСЛОН'е...

Продолжаю: — проездом со свидания в Москву, — «засыпалась» я снова в Ленинграде, украв саквояж на Николаевском вокзале...

Отсидев 17 дней в «Ардоме» при ГПУ, была по суду отпущена и уехала в Москву. На 12-ый день пребывания в Москве «завалилась» опять, на этот раз уже по «тихой»... Хотя каждый раз «шла» под другой фамилией, но МУР, конечно, открыл 1 судимость и 1 привод (московские) и Нарсуд Баумановского района за пустяк — за два женских платья, оцененных в 35 р. — приговорил меня к 3-м годам

ссылки «в отдаленные», замененные по моей кассационной жалобе высылкой в город Устюжну Череповецкого Округа.

В Устюжне я поселилась в развалившемся нежилом доме (Набережная Молот, д. № 4), предоставленном Адм-Отделом — для ссыльных, как «ночлежный». Дом этот более известен в городе под названием «Белый Дом» и — «Каменный Дом». Ночью устюженские жители мимо него проходить избегали, а во внутрь заходить даже днем боялись... Отведя этот дом для ссыльных, Адм-Отдел не снабдил его даже нарами, — помещение совершенно пустое, если не считать нечистот. Администрации при доме никакой нет, просто кто хочет — заходит, разводит, украденными где-нибудь, дровами (или идет ломать соседний плетень на топливо) — плиту и — ночует. Мы жили в «белом» доме небольшой, очень дружной воровской коммуной (кто — воровал, а кто — просто побирался, но все несли в общий котел) из 9-10 человек... Я была единственной женщиной (остальные бабы, прибывшие со мной вместе на высылку, — даже самая «шпана» — идти в «Каменный Дом» не решались), ребята мной гордились, что я не побоялась к ним придти, со мной очень считались, называли меня «хозяйкой Белого Дома» и перед каждой кражей со мной советовались... Один из ребят, шутя говорил: — «Боятся нас, как разбойников, а мы здесь живем: — ни драк у нас, ни пьянки... Редко когда пьем... Женщина с нами живет как сестра и мы ее не трогаем...» — Все это была правда... Уже под конец мне удалось переманить к нам еще одну ссыльную...

В Устюжине принялась я за новое ремесло: — объявила себя по городу гадалкою... Успех был невероятный; наиболее охочие до гаданья бабы и девчонки даже решались приходиться ко мне в «Белый Дом», — правда только днем и большой компанией... Остальные просили меня: — «Вы уж к нам заходите погадать, будьте добры... А то мы к вам туда боимся ходить... Мы уж для вас постараемся: — самоварчик поставим, “рогушечек” испечем!..» — Зазывали в «лучшие» дома города... Платили деньги, угощали... Уве-

ряли, что ни одной из местных Устюженских гадалок со мной не сравняться... Моя привычная откровенность и тут была лучшим моим оружием... Приступая гадать я говорила каждому: — «Гадаю — как умею... А правда ли, нет ли — кто знает? — Сами увидите!.. Другие есть, — совсем никому гаданью не верят — может они и правы?!..» — А, бабы умиленно вздыхали: — «И все-то она правду говорит!.. — Хоть бы в одном слове ошиблась!..» — А когда мне за гаданье «припаяли» 169 ст. У. К. одна из баб в зале суда довольно зычно сказала: — «Судят — известно за что... За то что правду человек говорит... Кабы она врала, — тогда другое дело!..» — В кулацко-буржуазных домах Устюжны меня старались задобрить и обласкать еще и по другой, кроме гаданья, причине: — зная каким влиянием пользуюсь я на «шпану» из «Белого Дома», — зажиточные хозяева кормили, поили меня и приговаривали: — «Уж вы вашим ребятам скажите, чтоб они нас не трогали... У нас и взять-то уже нечего, — нас в прошлом году два раза обворовывали... Пусть бы уж лучше они к 3-м, напротив; там — и муки крупчатой, и барахла... И мешки с мукой прямо так на парадном и стоят!..» — «Ой, что вы! — наши ребята разве такие!.. Наши ребята не воруют; так где-нибудь картошечки, пострелять заходят... Так как же “они” не боятся муку-то свою на парадном держать? — Впрочем у них, кажется, собака злющая, — верно на нее и надеются...» — Таким образом меня старались улестить, видя во мне орудие отвлечь взлом от своего дома и науськать на тех соседей, с которыми хотели свести счеты. И я хлеб-соль помнила. Говорила ребятам: — «В этом доме ко мне больно желанные — не стоит трогать!.. Уж лучше что-нибудь казенное — никому не обидно!.. А коммунисты — сволочи: выслать — выслали, а работы не дают!..» — Через три недели после прибытия в Устюжну я уже опять «сидела», — как следственная по делу о взломе «Магазина Союза Охотников». Взломав его, мы взяли «финки», большое количество ружей и деньги из кассы, но не все. Часть находилась в «несгораемом», а его вскрыть не удалось... «Дали» мне три года «отдаленных» и этапным порядком отправили в Си-

бирь... Пока я сидела в Устюженской тюрьме, я с увлечением читала в газетах о колхозах... В этой идее я почувствовала что-то старокommунистическое, что-то «октябрьское»... И я поспешила написать об этом Александру Ярославскому, ибо знала как его сердце — сердце бывшего партизана «Каландаришвальца»¹⁸ (не знаю правильно ли я пишу название этого отряда) порадует каждого подлинному, истинно-революционному, подлинно-революционному, — достижению большевиков...

Однако, очутившись в Сибири, волею «премудрой» администрации, — окупая в самую гущу крестьянства, — увидела я, что представляют собою пресловутые «колхозы» на деле, и — торжествовала полное ничтожество большевиков в настоящем и несомненное их политическое (от тяжелой руки крестьянства) — поражение в ближайшем будущем... Что касается меня лично, то я в Сибири, пока нас гнали этапом от деревни к деревне, — как «сыр в масле» каталась... После длительного голодания в Новосибирской пересылке (на 200 гр. хлеба, при приварке 1 раз в сутки «пустых» щей в недостаточном количестве), после содержания на тех же 200 гр., но уже безо всякого приварка в городке Канске, — нас назначили, наконец, в село Тасеево, куда и повели под конвоем, но уже безо всякого довольствия... Днем нас вели под винтовками, а на ночь ставили по 2-3 человека в крестьянские избы, предоставляя доброму желанию хозяев кормить нас... Думаю, что все крестьяне мира, кроме гостеприимных «чалдон», — послали бы нас вместе с конвоирами к черту, и заявили бы: — «Коли вы их гоните, — вы и кормите! — Мы-то здесь при чем?!»

Я, разумеется, использовала эти ночлеги, чтобы «гадать»; к той избе, в которой я была поставлена на ночлег, — немедленно в каждой деревне открывалось настоящее паломничество, — заснуть я успевала на каких-нибудь 3 часа, а с зарею надо мною уже снова наклонялось лицо какой-нибудь бабы, пришедшей погадать «поранее, пока еще народу столько не набралось; — а то потом к тебе очереди, милая не дождешься» и в руке у нее — 2-3 куриных яич-

ка... Затем, когда этап выстраивали — следовать дальше, — за мною на подводу выносили целые мешки с хлебами, калачами, яйцами... Все это, разумеется, шло на нашу «шпано-каэрскую» «коммуну» (так я называла всю нашу ссыльную братию, состоявшую из воров-рецидивистов и из «раскулаченных»)... Таким образом, я превратилась в своеобразного «интенданта» всего нашего этапа и это было настолько реально, что, заинтересованные не меньше меня — ссыльные, по прибытию в каждую новую деревню, спешили развеять слух, что — «с нами-де — следует гадалка...»

Спешу здесь сообщить, что в то время, как к воровству меня привели идейно-идеологические соображения, — гадала я просто, чтоб «выкручиваться» в ссылке (надо же было кормиться и на обратную дорогу заработать), да и остальной этап поддержать, особенно, следовавшую, как и я, без копейки денег — «шпану»... И только постепенно мне пришла мысль использовать это «гадательное» общение с крестьянством в целях антибольшевистской пропаганды и агитации... Прибавлю: — меня восхищала циничная пикантность моего положения: — бывшая докладчица-антирелигиозница в роли гадалки! — в этом заключались весь мой всепронизывающий философский скептицизм, все мое огромное уважение к древним философам — софистам, открыто нанимавшимся за деньги доказать какую угодно истину, — и — такое очаровательное презрение и к материалистам, и к идеалистам, — дальше которого уже и идти некуда!..

...В Тасееве нас распустили, назначив каждому деревню, в которую идти. Получив «назначение», я не торопилась, — предпочитая подзаработать в Тасееве гаданием — на побег... Успех мой в Тасееве был настолько потрясающим, что милиции пришлось принять срочные меры: — меня задержали, продержали день в милиции, а к вечеру выпустив, предложили немедленно, несмотря на надвигающуюся ночь, — двинуться в назначенную мне деревню... Но уйти из Тасеева в эту ночь мне не удалось, так как пока я шла по селу, окошки домов то и дело открывались и меня зазывали в одну за другой избы — «погадать»...

В путь я отправилась на другой день. Мне была назначена деревня — «Караульное»... Я наняла на «нагаданные» деньги подводу и двинулась в противоположную сторону... Доехав тайгой до пристани (проехала я верст 150-200 так), на пароходе по Енисею добралась до Красноярска. Там выправила себе «лицу» на имя «крестьянки Тамбовской губернии — Анны Иосифовны Сучковой» (имя, отчество и фамилию я выбрала в память своей покойной подруги)... Дальше ехала я поездом от города до города, в каждом городе зарабатывала себе на дальнейший путь... Но, когда я добралась до Казани, — мне надоела эта медлительность, — я решила больше не задерживаться, и отправилась в Москву от Казани «зайцем»...

Дальнейшее вам известно: — ни Москва, ни Ленинград меня не прельщали; во всем мире, во всей вселенной — мне нужны были только Соловки!..

Вот вам моя жизнь, — жизнь гимназистки-революционерки, студентки-мечтательницы, подруги огромнейшего человека и поэта — Александра Ярославского, — вечной путешественницы — странствующей антирелигиозницы, фельетонистки «Руля», уличной газетчицы, рецидивистки-воровки, и бродячей гадалки!..

*Записано собственноручно
Евгения Ярославская
3/II 31 г. Штраф-изоляция «Зайчики»*

<Обвинительное заключение>¹⁹

По след. делу N 507 по обвинению з/к
ЯРОСЛАВСКОЙ-МАРКОН Евгении Исааковны
в п<реступлениях,> пр<едусмотренных> ст. ст. 58/8 и
58/10 У. К.

Поводом к возникновению настоящего дела послужил рапорт начальника командировки «Заячьи Острова» 20 з/к ГОЛУНОВА от 28/Х-30 года на имя Старшего уполномоченного ИСЧ²¹ IV Отделения, в котором последний указал, что находящаяся на «Заячьих Островах» следственная заключенная ЯРОСЛАВСКАЯ Евгения Исааковна, 18/Х-30 года, во время объявления заключенным приказа по Управлению СЛАГ в общей массе заключенных, выступила с антисоветской агитацией, а также имела намерение совершить террористический акт над представителем администрации лагеря.

Расследованием по этому поводу установлено: 18/Х-30 г. на командировку «Заячьи Острова» приехал зав. Делопроизводством IV Отделения тов. НИКОЛЬСКИЙ с целью осмотра последней и объявления заключенным приказа N-289, в котором между прочим фигурировал как осужденный к высшей мере социальной защиты — расстрелу ее муж, ЯРОСЛАВСКИЙ.

При чтении приказа и перечислении лиц, подвергнутых к высшей мере наказания, фамилия мужа ЯРОСЛАВСКОЙ, вызвала со стороны последней выкрики «палачи, изверги, кровопийцы, скоро Вам всем придет такая же участь, но только не от пули, а от бомбы, цель моей жизни в дальнейшем только приносить вред Соввласти, жаль, что мой муж не дожил до момента свержения ее, я уверена в ее скором падении».

По зачтении приказа ЯРОСЛАВСКАЯ по выходе тов. НИКОЛЬСКОГО из барака ударила последнего протезой по ноге. В дальнейшем среди заключенных повела антисоветскую агитацию о выступлении против Соввласти и отказ от

работ, написала крупными буквами на груди «смерть чекистам» и просила окружающих вытатуировать эту надпись на груди.

Вечером этого же числа при оправке покушалась на самоубийство, но своевременно была замечена и покушение было предотвращено. Утром 19/X-30 года после подъема, ЯРОСЛАВСКАЯ подняла шум среди заключенных и дошла до такой степени цинизма, что своей мочей облила полученный заключенными хлеб и заключенную ЗУБОРОВСКУЮ²². В этот же день в 13 часов, переведенная в изолированное помещение, была замечена в покушении на самоубийство путем вскрытия вен на руке при помощи стекла. В 24 часа того же числа пыталась удушить себя палатцем на кровати.

11 ноября 1930 года во время посещения командировки «Заячьего Острова» начальником лагеря тов. УСПЕНСКИМ²³, заключенная ЯРОСЛАВСКАЯ по заранее обдуманному плану намеревалась совершить террористический акт над последним, в исполнение чего приготовленным ей ранее камнем-булыжником бросила в т. УСПЕНСКОГО, намереваясь попасть в висок, и только благодаря случайности удар был нанесен в грудь, не причинив вреда. В момент ухода тов. УСПЕНСКОГО из барака, где находилась ЯРОСЛАВСКАЯ, последняя намеревалась нанести ему и второй удар в голову и только быстрым ударом по ее руке присутствующим при этом начальником Отряда ВОХР тов. ДЕГТЯРЕВЫМ кирпич был выбит из ее руки и удар был предотвращен.

Допрошенные по настоящему делу в качестве свидетелей заключ. КАЧУБЕЙ, ШИПОВА и нач. отряда тов. ДЕГТЯРЕВ подтвердили правильность изложенного и дополнили: КАЧУБЕЙ и ШИПОВА, что ЯРОСЛАВСКАЯ проводила агитацию среди заключенных за отказ от работы, призывая к выступлению против Соввласти.

<Привлеченная в качестве обвиняемой по настоящему> делу заключенная ЯРОСЛАВСКАЯ-МАРКОН <Евгения Исаковна показала>, что конечной ее целью является: «борьба с Соввластью всеми способами, агитация и пропаганда,

подготовка крестьянских и красноармейских масс к вооруженному восстанию против Соввласти и совершение террористических актов против сотрудников ОГПУ, всяческая поддержка уголовного мира “шпаны”, с использованием ее в этих же целях». Считает, что Соввласть дискредитирует идею Революции, прикрываясь именем Советов, с которым совершенно не считается, и что руководит страной кучка интеллигенции, возглавляемая Центральным Комитетом ВКПб.

Высказывает, что Соввласть прогнила насквозь и скоро рухнет. Кроме того в Соловках намеревалась развернуть работу среди уголовного мира, для организации восстания в лагерях, а также и организацию массовых побегов из лагерей, что попытку совершить террористические акты над <ольно>/н<аемными> сотрудниками ОГПУ, работающими в лагерях, она обдумывала давно, до случая покушения на убийство Начальника лагеря. Из прилагаемой к делу автобиографии ЯРОСЛАВСКОЙ, написанной ею лично, также усматривается, что она до ареста на свободе занималась систематическими кражами и организацией уголовного мира.

На основании изложенного з/к ЯРОСЛАВСКАЯ-МАР-КОН Евгения Исааковна, 1902 года рождения, происходит из г. Москвы, имеет высшее образование, еврейка, владеет немецким и французским языком, по профессии фельетонистка, беспартийная, инвалидка (без ног), ранее судившаяся три раза по ст. 162 УК, один раз по 169 ст. УК и один раз по 76 ст. УК, также осужденная В<ыездной>/ С<ес-сий> К<оллегии> ОГПУ от 6/IX-30 года по ст. <ст. 82 и> 17-82 УК²⁴ сроком на 3 года с окончанием такового 17/VIII-33 года.

ОБВИНЯЕТСЯ:

в том, что находясь на командировке «Заячьи Острова», систематически вела антисоветскую агитацию среди заключенных, старалась вызвать у последних антисоветское настроение, призывая их к отказу от работ, написала на

груди «смерть чекистам» и ходила с этим лозунгом среди заключенных и 11/ХІ-30 года пыталась совершить террористический акт над Начальником IV Отделения (лагеря) тов. УСПЕНСКИМ путем нанесения ему удара булыжником в висок, т. е. в пр. пр. ст. ст. 58/8 и 58/10 УК, а потому руководствуясь ст. 208 УПК,

ПОСТАНОВИЛ:

Следдело за N-507 (по обвинению з/к. ЯРОСЛАВСКОЙ Е. И./МАРКОН) по согласованию с Пом<ощником> Прокурора по <2-му> уч. АКССР направить в Тройку П<олномочного> П<редставительства> ОГПУ в ЛВО на внесудебное рассмотрение.

Меру пресечения в отношении з/к. ЯРОСЛАВСКОЙ оставить прежнюю, т. е. содержание в жен. изоляторе «Заячьи Острова», перечислив таковую за Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО.

О. Соловки, «__» февраля 1931 г.

П/УПОЛНОМОЧЕН. ОО ИСЧ /ЛУКАШЕВ/.

СОГЛАСЕН: СТ. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ИСЧ IV ОТД.
/ФЕДОРКЕВИЧ/.

СОГЛАСЕН: НАЧАЛЬНИК ИСО УСЛАГ /ЛИНИН/.

УТВЕРЖДАЮ: НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СЛАГ
/ИВАНЧЕНКО/.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА²⁵

Выездной Сессии Кол. ОГПУ

10/IV-1931 г.

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

135. Дело N 1981-31 г.

ЯРОСЛАВСКУЮ-МАРКОН

по обв. закл. ЯРОСЛАВ-
СКОЙ-МАРКОН Евгении
Исааковны по ст. 58/8
и 58/10 УК Дело сдать в архив.

Евгению Исааковну —
РАССТРЕЛЯТЬ.

Подл. за надл. подписями

Верно:

Пом. Уполномоч. РСО СОУ ПП ОГПУ в ЛВО

<из Рассказа охранника>²⁶

<...> Да, судьбы наши в этих проклятых местах бывают удивительно фантастичны. Вот мне, русскому офицеру, участнику гражданской войны на стороне белых, приходится быть и, можно сказать, содействовать самому ужасному — расправе с безоружным, обреченным на смерть, изображать некую составную часть лапы ГПУ, тяготеющей над лагерями и Россией. <...>

Проклятое время. Вот теперь я иду на свободу. То есть, собственно, в ссылку, как и всякий соловчанин. И весь этот

ужас позади. Но я думаю, до конца жизни не забыть мне того, что увидел я за два месяца хозяйничанья Успенского. <...>

Два месяца назад совнарком издал секретный декрет — расстреливать отказчиков от работ. На каждой командировке, согласно этого декрета, образованы «тройки» из чекистов. На всякий отказ от работ десятником и наблюдающим чекистом составляется акт. Тройка ставит на акт свою визу, и отказчик отправляется в изолятор на Секирную²⁷. А оттуда — в братскую могилу. Братва митингует и приветствует «новый режим», а тем временем он держит на Секирной шесть палачей, и ежедневно находится им работа. И сам новорожденный начальник лагеря, Успенский, удостоивает принимать в палаческих расправах личное и собственноручное участие.

Так вот, на днях Успенский приказал составить акт об отказе от работ на изолированных имяславцев²⁸. И всех их расстреляли.

Никогда не забуду этого ужаса, даже если бы и хотел забыть. Как раз в этот день я был наряжен в караул на Секирную. До сих пор удавалось брать иные посты, а тут не вышло. Пришлось идти.

Пост у дверей, у притвора церковного. Оттуда выводили смертников, а стреляли в ограде. Человек восемь охранников принимали трупы, еще теплые, еще конвульсирующие, на подводы и увозили. Посмотрели бы вы на охранников-то: лица на них не было, — глаза растерянные, движения бестолковые, — совсем не в себе люди. Нагрузят воз теплым трупьем и как сумасшедшие гонят лошадей под гору, поскорей бы убраться подальше от сухого щелканья выстрелов. Ведь каждый этот выстрел обозначал расставание живой души с мертвым телом. Стреляли часа два. Восемь палачей и сам Успенский.

Но самое страшное было там, в притворе у нижнего изолятора. Смертникам связали руки еще наверху. Представляете вы себе эту толпу обросших бородами, кондовых мужиков со связанными назад руками? Они вошли и остановились в глубоком безмолвии. Палачи еще не были гото-

вы, и жертвы ждали. Сколько, не знаю. Но мне время показалось часа два. Только один я, стоя внутри на страже у двери, видел всю эту картину.

Они стояли понурые, плечом к плечу и думали свою крепкую думу. Тишина такая — даже в ушах звенело.

Вдруг дверь настуж. Вбегают два палача: еще жертву забыли в верхнем изоляторе — жертву — смертницу.

Ведут они ее, а она визжит, упирается, слова словно выплевывает. Они буквально ее приволокли в притвор, бросили и ушли, дверью хлопнули. Женщина сразу перестала кричать. Увидев толпу сумрачных, тихих мужиков со связанными руками, она, должно быть, только теперь все поняла, — и уставилась на них остановившимися глазами.

И еще сумрачнее стало в закрытом притворе. Молчат смертники, ни звука снаружи.

Сколько времени прошло в этой жуткой тишине — не знаю. Слышу тихий, словно вздох, шепот <...>:

— Помирать будем. Молитву бы на исход души. — Рыжий бородач встрепенулся, словно только проснулся. Хотел было перекреститься, но крепко связаны руки сзади. Еще раз дернул руки, и по лицу прошла судорога.

— Не терпит антихрист креста, руки вяжет. Крестись, братья, умом.

Смертники подняли головы, бледные губы вторят молитвы на исход души, глаза устремились ввысь — туда к Предвечному, за Кого здесь они отдают свою жизнь: помяни, Господи Боже, нас в вере и надежде живота вечного погибающих за Тебя, рабов Твоих...

И каждый шептал имя свое, свято хранимое от антихриста, оно теперь благоговейно возносилось ими пред лицом Предвечного.

— ...правда Твоя, правда во веки. Аминь.

Долго шептали и повторяли слова молитвы смертники. И опять водворилась тишина. <...>

У кого текут слезы по суровым лицам, у кого застыли они в глазах и застыл их недвижимый взгляд. А женщина-то эта, вдруг, как рухнет во весь рост на каменный пол. Не выдержали нервы. Это была вдова недавно расстрелянно-

го за неудачный побег советского поэта Ярославского. Она в Кремлевском дворе бросила в Успенского, расстрелявшего ее мужа, камнем²⁹. И теперь за это погибала.

Слышу: снаружи топот. Идут палачи. Сильная рука рванула тяжелую дверь, и первым вошел палач-любитель, сам начальник лагеря, товарищ Успенский. Пожаловал лично расправиться с женщиной за камень...

Еще не отзвучали слова молитвы, еще шепчут их бледные губы смертников. Успенского как обухом ударил этот шепот. Он повел плечами, нервно вынул наган и опять положил его в карман, прошел вдоль притвора в правый угол. Казалось — для него эти мужики, умирающие за веру, шепчущие слова молитвы, стали вдруг ненавистны, ибо всякое сопротивление его раздражало, как быка красная тряпка. Он привык видеть смертников бледными, трепещущими, уже наполовину ушедшими душой в иной мир. Шепот молитвы и сама молитва сковывали этих серых людей в одном стремлении и на Успенского повеяло холодком. Ведь не палачем же он на белый свет родился, где-то в душе должны быть следы прошлого. <...> Им овладело нервное настроение. Желая скрыть свое состояние, он закурил и через плечо бросил палачам распоряжение.

Тем временем Ярославская пришла в себя. С трудом, опираясь на стенку, встала и — прямо к Успенскому. А тот словно обрадовался случаю выскочить из жути, обругал ее самыми последними словами.

— Что? Теперь и тебе туда же дорога, как и твоему мужу. Вот из этого самого нагана я всадил пулю в дурацкую башку твоего Ярославского.

Женщина как закричит, как задергает руками. А Успенский смотрит и смеется судорожным, наигранным смехом. Врет: совсем ему не весело.

— Развяжи мне руки, развяжи, падаль паршивая! — в истерике орала Ярославская, пятясь к Успенскому задом, словно ожидая, будто он и впрямь развяжет ей связанные сзади руки. Потом вдруг круто повернулась, истерически завизжала и плюнула ему прямо в лицо.

Успенский сделался страшен. Выплывывая ругательства, он оглушил женщину рукоятью нагана и, упавшую без чувств, стал топтать ногами.

Началось... Брали с краю и уводили. Самого расстреля я не видал, слышал только сухие выстрелы палачей и неясный говор. Да порой вскрик кого-либо из убиваемых: — Будь проклят антихрист!.. <...>

Примечания

1. УФСБ по Архангельской области, фонд архивно-следственных дел. № 15634. Л. 26-44 с оборотами.

2. Исаак Юдельевич Маркон (Ицхок-Дов-Бер; 1875-1949) — гебраист, общественный деятель, библиотекарь отдела гебраистики Императорской публичной библиотеки. В 1920-1922 преподавал в Петроградском университете, затем — в Минском университете. В 1926 эмигрировал в Латвию, позднее — в Германию. В 1929-1933 — главный библиотекарь еврейской общины Гамбурга. С 1940 в Великобритании.

3. Макс Штирнер (Каспар Шмидт; 1806-1856) — немецкий философ, основатель анархического индивидуализма, примыкал к младогегельянцам.

4. «Вольфила» — Вольная философская академия, учреждена в Петрограде осенью 1918. Члены-учредители: А. А. Блок, А. Белый, К. С. Петров-Водкин, Р. В. Иванов-Разумник и др.

5. Александр Иванович Введенский (1856-1925) — философ, логик, психолог. Профессор Петербургского университета, бессменный председатель Философского общества при С.-Петербургском университете.

6. Александр Борисович Ярославский (1891-1930) — писатель, поэт, журналист, один из основоположников литературного те-

чения «биокосмизм» Член ВКП(б) в 1920-1921. Родился в Томске, окончил С.-Петербургский университет, участник Первой мировой войны (в 1916-917). В Гражданскую войну воевал в составе Кавдивизиона против атамана Семенова, участвовал в боях против «белочехов» и Колчака. Затем жил во Владивостоке и Улан-Удэ, работал редактором в различных газетах. С 1922 в Москве, примкнул к «биокосмистам», позже основал в Петрограде «северную группу биокосмистов-иммортилистов». В 1926 выехал в Берлин, сотрудничал в эмигрантской печати, вернулся в Россию. Арестован в мае 1928 в Ленинграде, под следствием в Москве. Постановлением КОГПУ от 1 октября 1928 приговорен к пяти годам заключения (ст. 58-4). В СЛОН ОГПУ прибыл 4 ноября 1928. Пытался бежать. Приговорен к ВМН, расстрелян не позднее 10 декабря 1930. Главные темы творчества Ярославского — освоение космоса, бессмертие, «глобальная катастрофа». Поэтические сборники «Грядущий поток» (1919, Владивосток), «Причесанное солнце» и «Поэма анабиоза» (1922, Чита) и др. Последний его роман — «Аргонавты Вселенной» (1926, Москва).

7. Великие Князья Кирилл Владимирович (эмигрировал в 1917) и Николай Николаевич (эмигрировал в 1919) в среде эмиграции первой волны были олицетворением надежд на восстановление монархии. Они возглавляли две ветви семьи Романовых, которые оспаривали друг у друга право на российский престол.

8. Исай Львович Юдин (Айзенштадт; 1867-1937) — в 1922 выслан из СССР, в 1922-1937 — коммерческий директор издательства «Социалистический вестник».

9. Иосиф Владимирович Гессен (1866-1943) — адвокат, публицист, один из основателей партии кадетов. В 1919 (по др. данным в 1920) эмигрировал. Один из организаторов издательства «Слово» в Берлине, издатель газеты «Руль», «Архива русской революции». С 1936 жил в Париже, с 1941 — в Нью-Йорке.

10. «Нансеновские паспорта» — временные удостоверения личности для лиц без гражданства, введены Лигой Наций по инициативе Ф. Нансена, выдавались на основании Женевских соглашений 1922. Имевшие нансеновские паспорта могли быть допущены на территорию любого из государств — участников Женевских соглашений. Однако при получении «нансеновского пас-

порта» его владелец автоматически утрачивал прежнее гражданство, до получения нового.

11. Осип (Иосиф) Соломонович Минор (1861-1934) — член партии с.-р. с 1902, разработчик аграрной программы партии. С 1920 — в эмиграции.

12. Александр Бергман (правильно: Беркман; 1870-1936) — радикальный анархист, жил в США, в 1919 вместе с женой (Эммой Гольдман) депортирован в СССР. В 1921 они эмигрировали в Германию, затем во Францию. Всеволод Михайлович Волин (Эйхенбаум; 1882-1945) — анархист, председатель реввоенсовета в армии Н. Махно, в 1922 выслан из СССР.

13. МОПР — «Международная организация помощи борцам революции».

14. Имеются в виду ночлежные дома для рабочего населения Москвы, построенные в 1909 и 1915 на деньги и по завещанию предпринимателя Ф. Я. Ермакова, крупнейшего московского благодотворителя XIX века. После 1917 закрыты.

15. Н. С. Гумилев расстрелян в августе 1921; Лев Черный (П. Д. Турчанинов) — один из основателей «Федерации работников умственного труда», лидер «Свободной ассоциации анархистов», расстрелян в сентябре 1921; «загадочный Фаин» — предположительно Фани Анисимовна Барон — анархистка, расстреляна в сентябре 1921.

16. Подразумеваются лидеры меньшевиков Р. А. Абрамович (Рейн) и Ф. И. Дан (Гуревич).

17. Документы, связанные с этими событиями, нами не обнаружены.

18. Имеется в виду Кавдивизион, созданный в 1918 Н. А. Каландаришвили.

19. ИЦ МВД Республики Карелия. Фонд личных дел заключенных, д. №38/1437. Л. 14—16. Воспроизводится с полным сохранением орфографии и пунктуации оригинала (впервые: «Бульж-

ником в висок...». Из истории Соловецкого лагеря. // Вестник «Мемориала» № 4/5. С. 126—129. С-Петербург, 1995, публ. И. Флиге).

20. Командировка «Заячьи Острова» (Заяцкие острова) — острова Соловецкого архипелага к югу от Большого Соловецкого. До 1932 на Большом Заяцком острове находился женский штрафной изолятор.

21. ИСЧ — информационно-следственная часть.

22. Из протокола допроса Ярославской-Маркон Е. И. от 12.01.1931: «На вопрос о моем поступке с закл. Заборовской (так! — *И. Ф.*) отвечаю, что считаю ее “ссученной”, способной стучать по начальству, а с таковыми все средства хороши». УФСБ АО, арх. след. Дело № 15634. Л. 9. Протокола допроса Зуборовской в следственном деле нет.

23. Дмитрий Владимирович Успенский (1902-1989) — в ГПУ с 1924, член ВКПб с 1927, с 1931 в системе ГУЛАГа. На 1931-1933 — и. о. начальника IV отдела Соловецкого ИТЛ. В 1954 уволен из МВД в запас в должности подполковника внутренней службы. Снят в фильме «Власть Соловецкая» (режиссер — М. Голдовская, 1988).

24. Ст. 162 — тайное похищение чужого имущества (кража); ст. 169 — мошенничество; ст. 76 — публичное оскорбление представителей власти при исполнении служебных обязанностей; ст. 17-82 — соучастие в побеге; ст. 82 (в документе пропущена) — побег.

25. ИЦ МВД Республики Карелия. Фонд личных дел заключенных, д. 38/1437. Л. 21. Воспроизводится с полным сохранением орфографии и пунктуации оригинала (впервые: «Бульжником в висок...». Из истории Соловецкого лагеря. // Вестник «Мемориала» № 4/5. С. 129. С-Петербург, 1995, публ. И. Флиге).

26. Рассказ Аркадия Ивановича Мыслицына, бывшего чекиста, заключенного по контр-революционной статье. Цит. по: Никонов-Сморозин М. З. Красная каторга. — НТСНП. София. 1938. С. 238-241.

27. Секирная гора («Секирка») расположена в центральной части Большого Соловецкого острова. На вершине горы в церкви Архангела Михаила и Вознесения был устроен штрафной изолятор, здесь же приводили в исполнение расстрельные приговоры.

28. Имяславцы («христосики», «Бог знает») категорически отказывались от каких бы то ни было отношений и переговоров с властями и лагерной администрацией — отказывались «работать на антихриста», не подписывали документов, не называли своих имен.

29. Рассказчик ошибается, описываемый эпизод произошел в штрафизоляторе на Большом Заяцком острове (см. обвинительное заключение).

Звезда. 20008. № 1

АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВСКИЙ

Биографический очерк

АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВСКИЙ

Биографический очерк



В биографии Александра Борисовича Ярославского, поэта и романиста, писателя-фантаста и одного из виднейших русских «биокосмистов», немало неясностей. Местом его рождения различные источники называют Москву или Томск, датой – 22 августа 1891 или 1896 года. Очевидно, последнее больше соответствует действительности, если судить по тому, что в 1907-1914 гг. юный «докторский сынок» обучался во владивостокской гимназии. Еще в гимназические годы (1912) опубликовал стихотворение в газете «Далекая окраина». Закончив в мае 1914 г. гимназию, отправился в Петроград и 9 августа 1914 г. был зачислен студентом математического отделения физико-математического факультета, однако к занятиям не приступал.

В ноябре 1914 и в сентябре 1915 г. пытался поступить добровольцем в 1-ю авиационную роту для обучения пилотажу; в начале 1916 г. был переведен на службу в 176-1 пехотный запасной батальон и 4 марта 1916 г. дезертировал. Весной и ранним летом 1916 г. находился в Петрограде, где безуспешно пытался опубликовать стихи и прозу в журнале «Рудин».

Затем Ярославский уехал во Владивосток. В 1917-1918 гг. выходят его первые крошечные поэтические сборники «Плевок в бесконечность» (1917) и «Звездный манифест» (1918). В начале 1919 г. Ярославский печатал стихи в газете «Владивосток» и

успел выпустить отдельным изданием поэму «Грядущий потоп», но уже в середине лета оказался в тюрьме по обвинению в революционной агитации. Был освобожден в 1920 г. и вскоре оказался в отряде иркутского анархиста Н. А. Каландаришвили (1876-1922), известного под кличками «Дед» и «Нестор». В отряде Каландаришвили А. Ярославский возглавлял культурно-просветительский отдел и выпустил в походной типографии посвященную «Деду» книгу стихов «Кровь и радость» (1920).

Свой пятый сборник «Окровавленные тротуары» (1921) Ярославский выпустил в Верхнеудинске; в том же 1921 г. он очутился в Чите. Ярославский завязывает литературные связи, выпускает книги стихов «Великолепное презрение» и «Причесанное солнце», а также участвует в читинском альманахе «Слова и пятна» (1921) – в нем он печатает шесть стихотворений и поэму «Анархия». Постепенно оформляются его основные темы: социальная справедливость, перманентная революция, анархическое отрицание «государства кровавой рожи», прорыв в космос, междупланетное братство пролетариев и обретение бессмертия.

Эти темы и мотивы оказались крайне созвучны теориям «биокосмистов» – литературной группировки, с которой Ярославский быстро сошелся после приезда в Москву в 1922 г. Начал он свою московскую деятельность, однако, с поэтической книги «Сволочь Москва» (1922), изданной под маркой эфемерного издательства «Супрадины»; титульная поэма стала яростным протестом против превращения революции в рутину советского государства. Летом 1922 г. Ярославский формально вступил в «Креаторий биокосмизма», возглавлявшийся основоположником биокосмического течения, поэтом и анархистом А. Святогором (А. Ф. Агиенко, ? – после 1937).

Биокосмизм возник в конце 1920 г.; в манифесте 1921 г. Святогор сформулировал его принципы как «вопрос о реализации личного бессмертия. Пора устранить необходимость или равноличное натуральной смерти. <...> В повестку дня мы включаем и «победу над пространством». Мы говорим: не воздухоплавание – это слишком мало, – но космоплавание. И космическим кораблем, управляемым умудренной волей биокосмиста, должна стать наша земля. <...> Пора иной путь предписать земле. Да и в пути других планет не лишне и уже время вмешаться. Нельзя же оставаться только зрителем, а не активным участником космической жизни. И третья наша задача – воскрешение мертвых. На-

ша забота – о бессмертии личности во всей полноте ее духовных и физических сил»*. В 1921-начале 1922 г. биокосмисты выступали с докладами, участвовали в религиозных и философских диспутах, публиковали статьи в анархистском журнале «Универсал»; выпустили они также несколько брошюр и четыре номера журнала «Биокосмист».

Пребывание Ярославского в группе было недолгим: Святогор исключил его «как лицо, не заслуживающее доверия». Тем не менее, Ярославский в компании соратника-биокосмиста, поэта Н. Дегтярева, выехал в Петроград для пропаганды биокосмизма. Изложение дальнейших событий предоставим А. Крусанову:

«Святогор, озабоченный вопросами приоритета, обвинил их в том, что они покушаются на организацию, “присвоив название, захватывая идеологию и терминологию биокосмизма <...>, бульварно преломляя его”, дискредитируя тем самым биокосмизм. В ответ Ярославский и Дегтярев обвинили Святогора в “узурпации прав секретариата”, “личном властолюбии”, “соперничестве”, “себялюбивом мещанском шкурничестве”, “диктаторстве” и организовали собственную Северную группу биокосмистов, совершенно разорвав с московскими единомышленниками.

Петроградская группа, возглавляемая Ярославским, положила “центр тяжести своей деятельности в литературной, художественной, научной, философской и атеистической пропаганде”, оставив в стороне вопросы политики, считая, что “общая политическая линия вполне правильно дается Российской коммунистической партией, руководимая каковой Советская Россия преопределяет генезис Биокосмизма”.

Ощущая свою замкнутость, биокосмисты обращались ко всем сочувствующим, к пролетарским массам в особенности, с призывом принять прямое и непосредственное участие в освещении биокосмической идеи. Они признавали всякий подход и соглашались публиковать все материалы, ценные с биокосмической точки зрения, невзирая на внешнюю шероховатость и необработанность. Выдвигая близкую каждому идею бессмертия и победы над природой, биокосмисты надеялись “преодолеть тупое сопротивление мещанской середины, которая всегда мешала великим дерзаниям”.

* Святогор А. «Биокосмическая поэтика. Пролог или градус первый». *Литературные манифесты от символизма до наших дней. Сост. и предисл. С. Б. Джимбинова.* М., 2000. С. 305-314.

В ответ на действия петроградской группы Святогор обратился к властям с просьбой запретить Северной группе пропаганду биокосмизма. Однако его действия не достигли цели. Северная группа продолжала существовать, а ее лидер А. Ярославский навел в ней порядок. Н. Дегтярева он уличил в предательстве и исключил из рядов группы, по разным причинам исключил еще несколько человек, некоторых «за недостаточную устойчивость и обывательскую дряблость» заносил на черную доску.

Северная группа опубликовала в журнале «Бессмертие» статьи об оживлении тканей умерших, планировала и устраивала вечера и популярные лекции по евгенике, регенерации, омоложению, анабиозу, рефлексологии и т.п., а также вечера чтения стихов и биокосмической пропаганды»*.

Сохранились воспоминания современника о выступлении А. Ярославского перед «600 или 700 двуногих» на вечере Петропролеткульта 21 августа 1922 г.: «Обливаясь потом, как волжский грузчик, председатель комитета Поэзии Северной группы биокосмистов-иммортилистов Александр Ярославский мужественно выполнял обязанности молотобойца слова, раскалывая гвоздем сногшибательной терминологии лбы и затылки, могущие вызвать завистливую улыбку у самого Тараса Скотинина». Похожие поэтические вечера проходили 25 и 31 августа, 7 сентября и в начале октября (на одном из них А. Ярославский познакомился со своей будущей женой, Е. И. Ярославской-Маркон). В диспутах поэту помогала внушительная внешность: «рост, осанка, громкая самоуверенность, львиная посадка головы, внушающая даже какие-то особенные ожидания»** Впрочем, О. Форш («Живцы») Ярославский показался персонажем почти карикатурным: «И еще поэт. Френч-галифе, как юбка на приземистом теле. Лицо порочного послушника, волосы мягко кудрявы, плутоваты глаза. Может, он ничего себе, любит сладкое и спиртное, а уж почудилось... био-космист!»

В 1922 г. Ярославский издал в Петрограде сборник «На штурм вселенной», программную «Поэму анабиоза» и книгу стихов «Святая бестияль». Вероятно, именно эта книга с призывами вроде «Семя поэтов в красивейших женщин / Нужно разбрызгать

* Крусанов А. *Русский авангард: 1907 – 1932. Исторический обзор. В 3 томах.* Т. 2. *Футуристическая революция 1917-1921.* Кн.1. М., 2003. С. 392-393.

** <http://lucas-v-leyden.livejournal.com/92633.html>.

сегодня!», «...идите блудить под Петром / У застывшей, как похоть, Невы!» или «Девушка, ляг на гранит — / Стань моей, между ног коня!» – наряду с бурной публичной деятельностью – навлекла на биокосмистов гнев властей. 14 ноября 1922 г. вопрос «о журнале биокосмистов и их организации» рассматривался на заседании Малого президиума Петрогубисполкома. В журнале «Бессмертие» была усмотрена порнография; постановление гласило: «Журнал закрыть. Дело о порнографии передать губпрокурору для расследования и выяснения возможности предания суду редакторов и издателей журнала. Поставить цензору на вид недопустимостью такого рода порнографических изданий»*.

В 1923 г. в Петрограде вышла книга Ярославского «Миру поцелуи» и сборник «Биокосмисты: Десять штук» со стихотворениями десяти поэтов. В мае 1923 г. Ярославский с женой вернулся в Москву; Евгения приехала в Москву калекой – она попала под поезд, пришлось ампутировать ступни обеих ног.

С фактическим распадом «биокосмизма» в жизни Ярославского и его жены начался новый этап: в 1924-начале 1926 г. они колесят по стране и зарабатывают себе на жизнь докладами на антирелигиозные и литературные темы (написанная в те годы и сгинувшая повесть Ярославского так и названа – «Бродячий лектор»). «Бродячие лекторы» побывали в Мурманском крае, Ташкенте, на Урале, в Поволжье.

В 1926 г. Ярославский опубликовал под маркой «Биокосмисты» посвященную жене книгу «Корень из Я» – наиболее значительное и объемистое собрание своих поэтических произведений. В том же году, опять-таки под маркой «Биокосмистов», вышел роман-утопия «Аргонавты вселенной».

В предисловии к этой книге Ярославский сам отмечал «наивность и старомодность» романа. Но если первая его часть и в самом деле грешит наивностью и подражательностью, в «лунных» главах Ярославский, словно спохватившись, обрушивает на читателя лавину научно-фантастических идей: здесь и панспермия, и селениты как основоположники земной цивилизации, и подземные лабиринты Луны с крионическими саркофагами бессмертных инопланетян, и вселенское братство разумов, и межзвездная связь, предвосхитившая «Великое Кольцо» И. А. Ефремова.

В сентябре 1926 г. Ярославский с женой выехали в Берлин. Насколько можно судить, выехали – в эмиграцию: едва появив-

* Крусанов. *Там же*, с. 393.

шись в Берлине, Ярославский опубликовал несколько резких материалов и «открытых писем» в газете «Руль» и выступил с разоблачительными докладами о положении в Советской России.

«Приехавший из Москвы писатель Александр Ярославский выступит 2 го ноября в Шуберт зале с лекцией на тему: “Россия и Москва”. Приводим некоторые тезисы: Провинция и Москва. – Страна где все согласны. Красные советские дворяне и беспартийная сволочь. Можно ли жить беспартийному в России. Госхулиганство и хулиганство масс. Хулиганство как стихийный протест против режима. Большевики и рабочие; большевики и крестьяне. О фининспекторе и советской милиции. Развал партии и развал оппозиции. О красных мошгах и красных угодниках. Итоги» – сообщал «Руль» (В Берлине. Лекция А. Ярославского // Руль. 1926. № 1800. 2 ноября. С. 4)*.

Два дня спустя газета так описывала лекцию:

«Еще молодой человек, с открытым русским лицом, обрамленным длинными волосами, лектор чувствует себя на трибуне весьма свободно, говорит связно, быстро, увлекательно и, прерывая свою речь личными воспоминаниями, отдельными эпизодами и характеристиками, он не теряет нити своих мыслей. Сразу видно, что лекторство стало его профессией. Объехав всю Россию от Мурманска до Тифлиса и от Петербурга до Владивостока с лекциями по литературе и атеизму, лектор вынес впечатление, что доминирующее настроение в России безотчетный неопределенный страх. Запуган не только обыватель, еще более боится и растеряно советское начальство, трепещущее друг перед другом в порядке иерархии ... власть отлично понимает, что ей решительно не на что опереться. Не говоря уже о красной армии, но в последнее время даже т.н. войска особого назначения, состоящие под начальством ГПУ, не представляются уже вполне надежными. Это ощущение и привело к тому, что оппозиция помирилась с властью. Но, конечно, плохой мир не может изменить положения и власть держится только по инерции до первого толчка. Однако, толчок должен быть изнутри. Всякая по-

* Здесь и далее цит. по: Дмитриева Е. Б. Свод расходящихся тропок [Рец. на кн. : Chronik russischen lebens in Deutschland 1918-1941. Berlin, 1999] // Новое литературное обозрение. 2000. № 42. С. 364-372. Автор считает, что поездка Ярославского с женой «сильно походила на “активное мероприятие”» советских «органов», что вызывает большие сомнения.

пытка произвести этот толчок извне приведет к обратным результатам и заставит крестьянство встать как один против внешнего врага на защиту своей земли. Отвечая засим на многочисленные записки, лектор утверждал, что сообщения о страшном росте антисемитизма в значительной мере преувеличены, что обывательский антисемитизм заметен только на Украине. На вопрос об отношении к эмиграции, лектор ответил, что в последнее время к ней обнаруживается все больший интерес, что эмиграция непременно нужна России, но отнюдь не в качестве руководителей, властителей, а в качестве незаменимых рядовых работников... Прекрасным оратором оказалась супруга лектора, дополнившая доклад рядом чрезвычайно интересных, живо и остроумно переданных наблюдений над провинциальной жизнью России» (В Берлине. Лекция А. Б. Ярославского // Там же. № 1802. 4 ноября. С. 4).

Сохранился и отчет о втором выступлении Ярославского, состоявшемся 10 декабря 1926 г. в «Русском клубе социал-демократов»: «В этом докладе лектор остановился преимущественно об отношении коммунистов к рабочим и на положении последних в провинции... Необычайно тяжело положение крестьянства, которое положительно задыхается от налогов, и когда об этом лектор рассказывал наркомфину Брюханову, последний... поспешил перевести разговор. После докладчика выступила Е. И. Ярославская, горячая речь которой произвела на присутствующих сильное впечатление. Она говорила о том, что именно лучшие элементы коммунистической партии предаются пьянству, погружаются в запой, чтобы не видеть... полного развала страны. Присутствующие поблагодарили лекторов горячими аплодисментами...» (В Берлине. Доклад А. Б. Ярославского // Там же. № 1834. 12 декабря. С. 8).

Любопытные детали приводит Н. Волковыский, который с явной враждебностью рассказывает в рижской газете «Сегодня» о «посещении, которым удостоил меня года полтора тому назад, в помещении одной редакции, господин с круглым, хорошо откормленным лицом, с шевелюрой провинциального поэта 80-летних годов. Он представился: поэт Александр Ярославский... участник антирелигиозной пропаганды в Советской России, он “бежал” за границу и здесь печатал какие-то полуразоблачения, полулирические произведения, порой публикуя “стихотворения о России”... Он пошло и плоско пытался разъяснить смысл антирелигиозной пропаганды в советских условиях, одновременно оправдывая и свой прежний образ действий, и свое нынешнее рас-

каяние. Я оборвал, наконец, этот разговор, заявив, что у меня есть срочная работа... Недавно Александр Ярославский, раскаявшийся безбожник, печатавшийся на столбцах эмигрантских газет, вернулся в Советскую Россию. Не знаю, какие акты нового покаяния пришлось ему проделать и пришлось ли. Не знаю, с какими целями и в каком качестве приезжал он за границу. ... Человек, которого никто в эмиграции не знал, которому не удалось зажечь моря и который, раскаявшись в своих заблуждениях, имел возможность возвратиться на родное советское пепелище» (Сегодня. 1928. № 260. 25 сентября).

Супруги начали работать в телеграфном агентстве, Евгения печатала фельетоны в «Руле». В Берлине Ярославский издал сборник «Москва-Берлин» (1927), которому было суждено стать его последней книгой. Первоначальные настроения вскоре сменились у Ярославского тоской по родине, неприятием эмигрантской жизни: «Пусть я “блудный” сын Советской России, но все-таки я сын ее...» Побывав нелегально во Франции, Ярославский с женой в феврале 1927 г. возвратились на пароходе из Штетина в Ленинград. Иллюзий Ярославский не питал: «Еду в Россию расстреливаться».

В мае 1928 г. А. Ярославский был арестован в Ленинграде, затем переведен в Москву. Постановлением ОГПУ от 1 октября 1928 г. он был приговорен к пяти годам заключения (ст. 58-4) и отправлен на Соловки. В СЛОН ОГПУ прибыл 4 ноября 1928 г.

В лагере Ярославский был на плохом счету у администрации; в характеристике Центральной арестантской комиссии от 23 августа 1929 года утверждалось: «От работы отлынивает, симулирует, требует постоянного наблюдения. Поведение плохое». Положение усугублялось тем, что другие заключенные, судя по «Соловетским записям» Д. С. Лихачева («художественно препарированным» А. И. Солженицыным в «Архипелаге ГУЛАГ»), считали его сексотом.

На исходе лета 1930 г., после ареста жены и раскрытия ее «заговора», против А. Ярославского было открыто дело о подготовке побега*. Он был приговорен к смертной казни и расстрелян не позднее 10 декабря 1930 г. Е. Ярославская-Маркон была расстреляна 20 июня 1931 года.

* Подробности о жизни Е. Ярославской-Маркон после ареста мужа и ее пребывании на Соловках см. в приведенной выше публикации ее воспоминаний.

Роман А. Ярославского «Аргонавты вселенной» публикуется с исправлением некоторых опечаток и устаревшего написания ряда слов (за исключением имен собственных, терминов и т.п.). Ввиду наличия в оригинальном издании ряда вариаций унифицирована авторская пунктуация.

Оглавление

Аргонавты вселенной. Роман–утопия

От автора	7
Глава I. Чемберт	8
Глава II. Елена	15
Глава III. Горянский	23
Глава IV. На остров!..	41
Глава V. «Победитель»	51
Глава VI. Накануне	64
Глава VII. В ракете	71
Глава VIII. Через пространство	86
Глава IX. Луна	103
Глава X. Опять в пространстве	122
Глава IX. Кладбище бессмертных	130
Глава XII. Последняя и самая маленькая	140
Поэма анабиоза	147

П р и л о ж е н и я

А. Ярославский. Три стихотворения

На штурм Вселенной	166
Звездному брату	167
Памяти Хлебникова	168

<i>Е. Ярославская-Маркон.</i> «Клянусь отомстить словом и кровью...»	170
---	-----

<i>А. Шерман.</i> Александр Ярославский. Биографический очерк	235
---	-----

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.